

Аякко Стамм

Право на безумие



Аякко Стамм

Право на безумие

«Издательские решения»

Стамм А.

Право на безумие / А. Стамм — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-741271-5

Роман «Право на безумие», как и другие произведения Аякко Стамма, выделяется удивительной соразмерностью самых ценимых в русской литературе черт — прекрасным прозрачным языком, психологизмом, соседством реализма с некоторой мистикой, захватывающим динамичным полудетективным сюжетом, ненавязчивой афористичностью, наличием глубинных смыслов. Всё это делает текст магическим, вовлекая читателя в поток повествования и подвигая не просто к сопереживанию, а к проживанию вместе с героями их жизни.

ISBN 978-5-44-741271-5

© Стамм А.

© Издательские решения

Содержание

Пролог	6
Часть I. Поезд	8
Глава 1	8
Глава 2	14
Глава 3	20
Глава 4	25
Глава 5	32
Глава 6	39
Глава 7	47
Глава 8	54
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Право на безумие

Аякко Стамм

«Прожить, врага не потревожив.

Прожить, любимых погубив».

Руслан Элинин. Русский поэт

Редактор Карина Аручеан (Мусаэлян)

Иллюстратор Венера Багирова

© Аякко Стамм, 2018

© Венера Багирова, иллюстрации, 2018

ISBN 978-5-4474-1271-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

Обезумел мир¹.

Он и раньше-то не отличался здравостью мышления. Легко его, ой легко провести на мякине, поймать где-нибудь в тёмном переулке, взять нежно за руку чуть повыше локоточка, посмотреть в глазки эдак доверительно, вкрадчиво и всучить полную дребедень и безвкусицу под видом очумело драгоценной вещицы.

Да он сызмальства глуповато-доверчивый был. Коль посулили наку, так и съел, чего не должно было есть... И ведь предупреждал его: «... *ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь*».² Не послушался, рассудил по-своему.

Чуть подрос, крылышки распушил-расправил, в небеса голубиные глянул взглядом пытливым, алчущим..., и давай из кубиков бабу-башню строить выше разума. Это, значит, чтоб с облака белоснежного на дольний мир взирать... Глупенький, а крылья-то тебе за спину для чего дал?

Дальше вообще ума рехнулся. Христа распял... И ведь как хвалился-то притом, как бравадился: «*Э! разрушающий храм, и в три дня создающий! спаси Себя Самого и сойди со креста*».³ А пока в восхищении собой слюной брызгался, да утирался потОм, не заметил, как Тот не только сошёл, но и спас. Не Себя, его, мир спас.

Обезлюдел мир....

Населения что ни год всё прибывает, а Человека в нём уж не сразу и сыщешь. Из всех заповедей одну лишь принял крепко, как свою исконную – ту, которая про «*плодитесь и размножайтесь*».⁴ А разве ж в ней соль? Разве ж об этом столько было говорено и ... написано?

Дурак человек, как есть дурак.

Но, однако ж, и дурак дураку рознь. Дурак в России больше чем дурак.⁵ На нём, если рассудить здраво, держится всё её благополучие, величие и даже слава. Так уж повелось издревле. Он и Змея Горыныча победил, и Бабу Ягу вокруг пальца обвёл, и, на печи лёжучи, жениться ухитрился. Да не абы кого взял за себя, а самую что ни есть царскую дочку с полцарством в придачу. А скольких умников-разумников наш русский дурак уму-разуму научил? И всё то без обману, без нахрапа, без своего корыстного умыслу. Да и не хотел вроде мир-то спасать, не собирался даже – судьба сама выбрала да выдвинула. Пожал дурак плечами, развёл руками в стороны и покорился судьбе. Ничего не попишешь, написано уж.

То прежде было.... А ныне? Теперь его никто не толкает, не просит даже, сам он, как тот, с кубиками, наверх карабкается, лезет, цепляется изо всех силёнок, ушками аки крылышками машет для равновесия, ... и ведь упасть не боится. И на всё-то у него есть своё мнение, своё суждение, всё-то он знает, ведает, что и как было, есть и непременно будет. Не понимает в азарте своём бестолковом, что человек, всегда и на всё имеющий своё мнение и высказывающий его при любом удобном случае, подобен дураку с кучей блестящих фантиков, который давно забыл, а то и вовсе не знал вкуса некогда хранящихся в них конфет.

¹ Человек издревле разделял понятие МИР, придавая ему несколько значений, как то: Мир в широком смысле – всё сущее, Вселенная; Мир в социальном смысле – человечество, мировое сообщество; Мир – спокойствие, отсутствие войны, покой.... В данном случае автор использует понятие Мир как нечто светское, постоянно изменяющееся, противоречивое, отличное от Мира Духовного, олицетворяющего единение человека с Богом.

² «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» – Бытие (2;16,17)

³ «Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм, и в три дня создающий! спаси Себя Самого и сойди со креста – Евангелие от Марка (15; 29,30)

⁴ «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» – Бытие (1;28).

⁵ Перефразированная строка из стихотворения Евгения Евтушенко «Поэт в России больше чем поэт...»

Да. Измельчал нынешний дурак. И беда-то вся в том, что продолжает мельчать стремительно. Знаете, почему рухнул тот колОсс на глиняных ногах? По Москве тогда протянулась огромная очередь... Неожиданно, случайно люди поняли, что половина из них стоит за колбасой, а другая половина совсем наоборот, за книгами. И ведь все в одной очереди! Решили разобраться, кто из них стоит неправильно.... Так и пал семидесятитрёхлетний режим.

Ну, теперь понимаете, почему ваш теперешний, нынешний режим не только стоит, но даже не шатается?...

Блажен, кто понял....

Эх, если бы не классики.... Они любят безумцев, души в них не чают, видят не только свет, но и спасение. Как когда-то русский баюн в Дураке. Фёдор Михайлович Достоевский романы писал идиотам. И какие романы!!! Мир рухнет, а сие, высеченное на скрижалях сердца человеческого, будет жить вечно! И ведь как выписал, как издалека зашёл?! Вслушайтесь только:

«В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что насилу рассвело; в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона.

*В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира, – оба люди молодые, оба почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями, и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда».*⁶

А! Услышали?! Классика... Если и писать про Безумца, (заметьте, с заглавной буквы Безумца) то непременно что-нибудь наподобие. Иначе никак нельзя.

Писатель – он вообще не от мира сего. Тот же идиот, только ещё безумнее, ещё замороженнее. Вот спрошу я вас: кем вы почитаете литератора? Тут, вижу, собрались всё люди образованные, с мыслишкой затаённой-заветной, с искоркой в сердце, потому не ошибусь, если позволю себе предугадать ответ: «Он Царь, Повелитель душ и сердец человеческих!».

Ха.... Какой же я царь? Цари властвуют над миром, повелевают им. Он велит, и послушаются ему. Призывает, и бегут на полусогнутых. Казнит ли, милует, всё одно прославляют его в веках... Какой я царь? Нет, я совсем другое. Я не властвую, не повелеваю. Я вне мира. Я сам создаю миры и сажаю в них царей...

Выходит, ... что я ... бог...?

⁶ Начало романа Ф. М. Достоевского «Идиот».

Часть I. Поезд

*«Две параллельные прямые не имеют общих точек.
Никогда. Кроме тех случаев, когда они пересекаются».*
Закон геометрии для седьмого класса

Глава 1

В середине лета, двенадцатого июля, аккуратно по завершении Петрова говения⁷, в слепую туманную рань, часов в шесть утра, поезд Московско-Воркутинской железной дороги на всех парах мчался по направлению к столице России. Было так сыро и туманно, несмотря на летнюю сушь и незаходящее в это время года солнце, что в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Казалось, земля, пока солнце не вошло в свою полную силу, пытается хоть как-то уберечься от дневного зноя и окутывает себя мягким тягучим защитным кремом, непроницаемым для косых, скользящих лучей светила северной белой ночи. Пассажиры, несмотря на почти что дневной свет и вагонную качку, спали в этот ранний час, скрадывая вялотекущее время долгой дороги тупым и призрачным безвременьем сна, способным если не раскрасить серые будни бытия цветным муаром, то, по крайней мере, хоть сколько-нибудь перескочить, обмануть их бесконечное течение.

В купе одного из вагонов очутились друг против друга, у самого окна, два пассажира. Оба люди уже немолодые, но ещё и не старые, в самом расцвете лет... Оба почти налегке, без обременяющей путешественника большой поклажи... Оба не щегольски, но прилично одетые, хотя и в совершенно различных стилях... Оба с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б эти двое наперёд знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в купейном вагоне Московско-Воркутинского скорого поезда. Но жизнь человеческая часто преподносит такие сюрпризы, задаёт такие загадки, сплетает в логичные закономерные цепи такие случайности, что перестаёт хоть сколько-нибудь удивлять то обстоятельство, что само понятие бытия объявляется вдруг и всерьёз прихотливой игрой всё того же его величества случая. Что ж, тем она, наверное, и непредсказуема, эта жизнь.

Первый из двух пассажиров, лет что-то около пятидесяти, выглядел весьма примечательно и даже, можно сказать, привлекательно, если иметь в виду открытость души, простоту и лёгкость нрава, угадываемые в мягких чертах его круглого лица, а особенно в искреннейшей радушной улыбке и добром, подкупающем взгляде голубых, неподдельно чистых глаз. Его лицо можно было бы даже назвать красивым той тёплой красотой, которой так богата среднерусская полоса, и которая способна подкупить, привлечь к ещё большей открытости друга,... равно как и обхитрить, уверить в излишней доверчивости врага. Часто такая красота обманчива и коварна... Впрочем, это не позволяет сделать вывод, что доверяться ей ни в коем случае нельзя, равно как и отторгаться от внешнего уродства, неизменно олицетворяя его со злодейством. Пассажир этот уже при первом, беглом взгляде на него удивительно смахивал на доброго Деда Мороза, пускай разгримированного, оставленного без длинной белоснежной бороды и красной бархатной шубы, но не утратившего от такого лишения ни сказоч-

⁷ Петров пост (также Апостольский пост, в просторечии Петровки, Петрово говение) – православный пост, установленный в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для евангельской проповеди (Деян. 13:3). Начинается через неделю после Дня Святой Троицы, в понедельник, после девятого воскресения по Пасхе, а заканчивается в день Петра и Павла – 29 июня (12 июля), когда Церковь воспекает «Петрову твердость и Павлов разум». Таким образом в зависимости от даты празднования Пасхи может продолжаться от 8 до 42 дней.

ного радушия, ни всегдашнего предвосхищения огромного мешка с подарками. И мешок этот не преминул появиться. Не мешок, конечно, а только лишь пакет прочного гламурного полиэтилена, но разукрашенный, как ёлка гирляндами, яркими заграничными письменами, в которых и азбука, и эстетика, и даже культура сегодняшнего миропонимания.

В мире, где носителем информации может являться всё что угодно, сама информация приобретает особое значение и вес. Более того, она вдруг обретает неслыханный приоритет даже над самым смыслом, хранящимся в ней. Хранящимся очень глубоко, часто недостижимо глубоко.

Но на то он и смысл, чтобы поискать-покопаться. А вот пакет оказался не столь бездонным, и скоро из его чудесной утробы на вагонный столик был извлечён вовсе не чудесный лёгкий дорожный завтрак. Лёгкий отнюдь не оттого что больше в пакете ничего нет, но потому что больше не хочется в столь ранний час. Завтрак примечательного пассажира состоял из пластиковой ванночки диетического творожка, бутылочки заморского питьевого йогурта и жёлтого спелого банана. Пассажир распределил блюда по порядку их употребления на первое, второе и десерт, разложил на столике в строгом соответствии и с подкупающей искренностью улыбкой обратился, наконец, к сидевшему напротив попутчику.

– Не желаете ли присоединиться?

Лицо⁸, к которому был обращён вопрос, было совсем иное, отличное от радушного путешественника и видом своим и, как угадывалось, содержанием. Несколько моложе, лет около сорока, хмурое, задумчивое, как бы отрешённое от мира, само, что называется, в себе. Оно сидело на своём диване с противоположной стороны от столика, и глаза его цепким взглядом пытались выхватить из проносящихся мимо вагонного окна сгустков тумана куски окружающей действительности. Казалось, человек этот вновь знакомится с забытым, ставшим уже чужим для него миром, тщательно и придирчиво отыскивает место в нём, примеряя к нему своё я, примиряясь с ним. Внешний вид этого пассажира, его платье – наглухо застёгнутая на все пуговицы чёрная рубашка и чёрные же брюки – рисовали его как человека церковного, а длинные, убранные в тугую косичку волосы и густая окладистая борода только подтверждали это предположение. Лицо человека не выражало ничего – ни радости, ни огорчения, ... оно было спокойным и бесстрастным, хотя назвать его каменным тоже ни в коем случае невозможно. Что-то живое и тёплое угадывалось в нём, впрочем, не явно, но сокровенно, на уровне подсознательного ощущения. Может быть виной тому глаза, единственно жившие на его лице кипучей осмысленной жизнью, ... но как бы самостоятельной, отстранённой от всего существа человека. Он вовсе не ложился в эту ночь, потому как только за полчаса до пробуждения своего радушного попутчика зашёл в вагон на какой-то промежуточной станции. Стараясь не делать шума, не расстеляя даже постели, он сел на диване возле окна и окунулся взглядом в кисею тумана за стеклом, утонул в нём. Казалось, он не замечал движений и действий пассажира напротив. И если бы не приятный, бархатный баритон последнего, пригласивший разделить с ним скромную трапезу, чёрный человек так, наверное, и оставался бы вне вагонной жизни вплоть до самой Москвы.

Они сошлись.

Монах – будем до поры называть нашего героя так, пока он не представился и не объявил нам своего имени – как бы очнулся, вышел из состояния созерцательной задумчивости и медленно перевёл взгляд на своего нечаянного визави. Затем на любезно предложенный ему завтрак ... и вновь на попутчика. Глаза в глаза. Встретив во взгляде искреннюю, открытую улыбку и неподдельное участие, улыбнулся сам сквозь густые запущенные усы. Лицо ожило, а глаза, и без того живые, повеселели и заиграли ответным блеском.

– Благодарю вас. Я не голоден ... Ангела вам за трапезой.

⁸ Лицо – в смысле Личность, а не область на голове с расположенными на ней глазами, носом и ртом.

– Спасибо... А я позавтракаю. Многолетняя привычка, знаете ли. День не начнётся без лёгкой трапезы, и всё уже в нём будет не так и не то, – ответил радушный пассажир и приступил, наконец, к творожку.

– Простите, я разбудил вас, когда входил в купе? – забеспокоился монах. – Вы спали, а я сел в Княжпогосте⁹ совсем рано. Старался не шуметь, да вот... Простите ради Бога.

– Знаете, вы вовсе не разбудили меня. Я птица рассветная, просыпаюсь в это время без будильника, тоже многолетняя привычка. Так что не извиняйтесь, всё нормально.

И радушный пассажир целиком ушёл в свой завтрак, давая, может быть, понять собеседнику, что радушие радушием, разговоры разговорами, а ежедневные насущные дела, знаете ли, по распорядку, менять который он не намерен ни при каких обстоятельствах. Тот в свою очередь и не думал настаивать, он вернулся в прежнее состояние созерцательности и немного диалога с туманом за оконным стеклом, который, надо сказать, существенно поредел и продолжал интенсивно таять под всё более вступающими в свои права лучами восходящего солнца. О чём он думал в этот ранний утренний час, с чем олицетворял своё теперешнее состояние и свою будущность? С быстро тающим и обещающим в скором времени исчезнуть совсем туманом? Или с восходящим и всё более властно заявляющим о себе солнцем?

А тем временем дневное светило уже довольно высоко поднялось над горизонтом и уже не мимоходом, не осторожно, но жадно слизывало горячим языком самые плотные, самые сочные сгустки сливочного тумана. Было очевидно, что оно об эту пору испытывало наиболее сильные и неудержимые приступы утреннего сладострастия, всей своей энергией неистово поглощая, растворяя в себе ночного гостя, который лениво и вальяжно разлёгся у самой поверхности земли, предполагая видимо отлежаться тут в холодке, в стороне от кипучей земной жизни. Не получилось. Да он и не старался особо. Ему нравятся ласки солнечных язычков, возбуждающих, будоражащих, пусть растворяющих, поглощающих его в себе, но ведь в СЕБЕ же. Да и разве то грех – отдаться утреннему солнцу со всеми потрохами, забыв о своём я, об умиротворяющем покое ночи, о тишине и неподвижности? Земля, успокоенная ночным туманом и разбуженная к жизни игривым любящим солнцем, просыпалась, возрождалась из небытия, вступала в новое, никогда ещё не бывшее ранее Сегодня.

«Где ты, моё Солнышко? – прозвучало в отяжелевшем, отвыкшем от простой мирской радости сознании монаха. – Взойдёшь ли ты ещё когда на моём небосклоне?».

– Красота! – прокатилось где-то вдалеке, по ту сторону сознания, в другой, параллельной вселенной. Мягкий бархатный баритон расплылся по пространству купе, завибрировал, зазвучал, отражаясь многократно от стен вагона, и проник-таки в сознание просыпающегося чёрного человека.

– Что? Вы мне?

– Я говорю, красота-то какая! – воодушевлённо сказал, почти пропел радушный пассажир. Он уже расправился со своим нехитрым завтраком и снова пребывал в самом открытом для окружающих, самом наилучшем и притягательном расположении духа. Глаза его горели, улыбка светилась, лицо излучало столько энергии и радушия, что душа монаха вдруг улыбну-

⁹ Княжпогост – село, некогда центр Княжпогостского района республики Коми. Расположено на правом берегу реки Вымь. На месте Княжпогоста, возможно, была резиденция вымских князей, что и отразилось в названии села. Княжпогост – одно из двух древнейших поселений на реке Вымь (по возрасту он уступает 7 лет деревне Ыб, расположенной в низовьях реки). Люди здесь жили давно – самые ранние из находок, сделанные археологами в окрестностях села, датируются V в. Первое письменное упоминание о «Княжеском погосте» относится к 1490 г. По мнению многих исследователей, здесь находилась резиденция вымских князей, управлявших Коми краем с 1451 по 1502 гг. В пользу этой гипотезы свидетельствует наличие близ села городища, укрепленного валами и рвами. Рядом с погостом находилось 7 деревень, впоследствии слившихся с ним в один населенный пункт. В первой половине XIX в. в селе построили каменную церковь, в 1880 г. была открыта церковно-приходская школа, в то время одна из лучших во всем Коми крае. В 1930-х гг. напротив села, на противоположном берегу Выми появился поселок Железнодорожный, который со временем стал административным центром Княжпогостского района, сменив на этой «должности» Княжпогост. В 1985 году переименован в г. Емва. Прежнее древнее название Княжпогост сохранила лишь железнодорожная станция.

лась невольно, потянулась нечаянно и робко к этому неожиданному свету, озаряясь, наполняясь его свечением, осторожно вибрируя в унисон и вбирая в себя такую новую, давно забытую, некогда похороненную навеки радость. Привыкшая за последние годы оставаться закрытой самой в себе, она вдруг ощутила наполняемость чем-то ... не вполне пока понятным, может быть опасным, но чрезвычайно приятным. Вместе с тем чувствовалось, как её словно покидает что-то, уступая место новому ощущению, что-то своё, до боли родное, априори присущее. Но покидает как бы не совсем, не навсегда, а только оберегая, предостерегая от чего-то. И от этого ощущения душе стало немножко больно. Но боль эта, оттеснённая в сторону нахлынувшей радостью, потопталась ещё на месте, поныла беззвучно и отошла вовсе.

В это время поезд вырвался вдруг из плотных объятий тёмного леса на необозримый простор, ничем не ограниченный, разве что линией горизонта да склоняющегося за неё, тонущего в ней синего неба. Где-то внизу, казалось, прямо под колёсами поезда внезапно раскинулась широкая, могучая река, уносящая свои неспешные воды далеко-далеко, к точке соприкосновения с небесами и питающая, должно быть, их чистой лазоревой синью. Воздух, лишённый тумана, но ещё не прогретый насквозь, был тих и прозрачен настолько, что казался вовсе неподвижным. Всё вокруг убедительно внушало человеку мысль, что жизнь, выбранная им, как средство коротания вечности – занятие вовсе не безнадежное.

– Нет, ну красиво-то как! До чего ж замечательно, правда!? Ведь правда же?! – восторженно пропел в третий раз радушный пассажир, и настолько восхищённо, что не согласиться с ним было ни в коем случае нельзя, даже если бы за окном простирался серый лунный пейзаж. – Как всё-таки удивительно хороша наша русская природа! До осязательности хороша! Прямо хоть бери её голыми руками в охапку и на холст, и на холст!

– Вы, однако, художник! – проговорил с неподдельным чувством монах, и не понятно было, чем он более впечатлился: действительной ли красотой русского пейзажа, или же зажигательным, просто-таки заразительным воодушевлением своего попутчика.

– Да! В душе художник! – не без гордости заявил тот, и было очевидно, что замечание монаха ему явно польстило. – А по жизни совсем нет. Даже напротив... Ммм... это так важно, найти своё,... мм... именно своё место в жизни,... мм... своё дело, которому мог бы отдавать всего себя без остатка... мм... и делать это, заметьте, с удовольствием, а не по необходимости, – он перешёл на философский тон, тщательно подбирая слова, по несколько секунд задумываясь над ними. При этом восторг его несколько спал. – Я своё место, как мне кажется, не нашёл... К сожалению... Так часто бывает... – попутчик совсем было сник, но только на одно крохотное мгновение. Видимо, подобные мгновения были ему не свойственны. – Только не подумайте, что я какая-нибудь никчемная побрякушка. Нет. Дело, которым я занимаюсь, очень важное и полезное, ... и интересное, ... и доход приносит... мм... немалый, ... и оно мне нравится, ... мм... держит меня определённо и положительно... Это МОЁ дело! Без сомнения моё! – он снова начал увлекаться и воодушевляться, даже подался несколько вперёд, ближе к собеседнику, будто собираясь развеять все его ни вдруг возникшие сомнения раз и навсегда. ... Или свои? Но почему-то передумал и, склонив голову на бок, освещая своё круглое лицо открытой, обворожительной улыбкой не только губ, но и глаз, закончил мысль доверительно. – Но всё кажется, что шагая по жизни уверенными, твёрдыми шагами, я прошёл мимо чего-то, ... о котором теперь сожалею.

Вдохновенный пассажир отвернулся к окну и, не снимая с лица улыбки, погрузился взглядом в расцвеченный восходящим солнцем пейзаж. В его глазах, как бы подтверждая только что сказанное, жило своей обособленной жизнью сожаление, не затеняющее, впрочем, радущия и очарования, но изрядно добавляющее к его личности доверительности и симпатии.

Монах не встретил в монолог попутчика. Несмотря на образовавшийся интервал в разговоре, он чувствовал, почти знал, что собеседник высказал ещё не всё и что в очень скором

времени продолжит. Он не ошибся. Выдержав весьма непродолжительную паузу, тот, не отрываясь от окна, действительно заговорил.

– Но я имею прямое отношение к живописи. Я собиратель. У меня есть небольшая, совсем небольшая ещё коллекция художников одной не старой, не очень пока известной, но весьма примечательной и интересной школы. Я начал собирать её несколько лет назад, сначала, как и многие, просто для оформления интерьера дома, а потом втянулся, знаете ли, даже увлёкся. И это моя вторая жизнь, в ней я преображаюсь, взлетаю, ... мм... отдыхаю от первой, дополняю, ... мм... даже исполняю её. Вот так бы я сказал.

– А у меня всё не так, всё наоборот, – заговорил, наконец, чёрный человек, определяя каким-то подсознательным чутьём, что пришла его очередь. – И себя я знаю, и место своё, не сомневаюсь в нём ни разу, ... а только иду куда-то ... мимо, будто успею ещё вернуться. Вот уж пятый десяток разменял, а всё иду, ... не дойду никак. И кидает меня из стороны в сторону, увлекает, зажигает, ... всё звёзды, звёзды, звёзды... яркие, горячие, манящие, одна ярче другой... А всё не те, всё не мои... И ведь знаю, что не мои, не обманываюсь на их счёт, не искушаю судьбу. Свою-то звёздочку будто про запас держу, в шкатулочке заветной, что на дубе том, где русалка на ветвях сидит¹⁰. Дескать, вот напитаюсь всяко-разным, попробуюсь, насытюсь до тошноты, тогда и к ней Любимой, ... заждалась уж, небось. Только дорога к тому дубу всё больше забываться стала, зарастать тернием, нехожена. Так и живу – путник без дороги, иннок без обители, патриот без отечества. «Всю жизнь ломать одну комедь и, умирая, умереть...»...

– Как-то уж больно мудрёно, – перебил его попутчик и, казалось, совсем не заметил этого, будто имел на то своё неоспоримое право. – Я уж было составил об вас свой вердикт: ваша внешность, молчаливость, некая отрешённость. А теперь и не знаю даже, прав я был или не прав, – вдохновенный пассажир пристально всматривался теперь в чёрного человека, а в глазах его вдруг появилась лукавая хитринка. – Нет, правда, разрешите моё недоумение, если это, конечно, не секрет. Кто вы?

– Да какой там секрет? – с готовностью откликнулся монах. – Писатель.

– Писатель?! – неподдельно удивился собеседник и даже несколько отстранился от столика, будто пытался разглядеть попутчика как бы со стороны, более полно и перспективно что ли. – Вот уж не подумал бы... Даже странно... Я, знаете ли, по роду своей деятельности много работаю и общаюсь с людьми, люди мой основной рабочий ... мм ... материал. Так что с годами я стал весьма приличным физиономистом. Это мой конёк. Мне часто удаётся по одной внешности распознать человека, уж поверьте мне. А вы... А вас... – он даже как будто бы обиделся, заподозрив своего визави в неискренности. – В вас я совсем не увидел писателя. Они такие... Вас я принял скорее за... – неожиданно говоривший осёкся, будто налету поймал готовое сорваться с языка неосторожное слово, – ... за художника, – наконец нашёлся радушный пассажир и снова заулыбался. Было видно, что он остался доволен своей находчивостью.

– Вы угадали. Я и это пробовал. И поверьте на слово, не без успеха, – согласился чёрный человек и тоже улыбнулся в ответ. – Только ведь вы не то хотели сказать, правда? Вы хотели сказать – за монаха, не так ли? И тоже попали бы в точку. Вы прекрасный физиономист, уверяю вас, – сказал он утвердительно-убеждённо. Ему почему-то хотелось поддержать собеседника, подфартить ему что ли. Но совсем не из слащавой лести, а из симпатии, по искреннему к нему расположению. И это ему, по всей видимости, удалось. – Хотя... какой из меня монах? – продолжил он после короткой паузы и опустил глаза. Какая-то неприятная мысль омрачила его улыбку и вернула в прежнее состояние задумчивости. – Очередное испытание очередного поприща. Всё только проба, всё временно, всё тленно...

– Ну, зачем же так? Может, ещё наладится... – чистосердечно попытался успокоить монаха радушный пассажир.

¹⁰ «У Лукоморья дуб зелёный...». Из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

– Нет. Не наладится. Да и не нужно... Уже не нужно. Как раз сегодня я покинул свой монастырь. Теперь уж навсегда. Возвращаюсь домой, в Москву, в мир.

Некоторое время оба молчали. Но неловкость паузы не удовлетворяла ни одного, ни другого. Нужно было как-то сменить тему, заговорить о чём-то нейтральном, отвлечённом, более жизненном.

– Ну, раз уж мы, так стремительно опережая естественный ход событий, обменялись верительными грамотами, – нашёлся первым радушный пассажир, – то пора, наверное, и представиться друг другу, чтобы познакомиться, так сказать, вполне. Дорога предстоит ещё длинная, и она мне, не скрою, уже не кажется скучной.

Он вновь сиял самой приветливой и обворожительной улыбкой, даже чуточку привстал для официальности и протянул собеседнику ладонь для рукопожатия.

– Пётр Андреевич. Берзин.

– Аскольд, – охотно и даже с радостью согласился тот, привстав в ответ.

– А по отчеству, простите? – несколько притормозил первый.

– Да бросьте вы, я не привык как-то к отчеству, возраст ещё не тот. Просто Аскольд.

– Прошу меня извинить, но я себя тоже стариком не считаю. А на отчестве всегда настаиваю исключительно ради уважения к отцу. Я моего очень люблю и почитаю, надеюсь, и вы своего тоже. Обращением же по имени-отчеству я приношу некую дань уважения к дающим нам жизни. Вы согласны со мной?

– Аскольд Алексеевич... Богатов.

– Вот это другое дело.

И они горячо и плотно пожали друг другу руки.

Глава 2

– А не принять ли нам по рюмочке коньячку? За знакомство, – Пётр Андреевич сам обрадовался удачной идее, с шумом хлопнул ладонями и потёр их друг о друга.

Аскольд задумался на секунду.

– Простите,... я человек сугубо светский и слабо разбираюсь в монашеских правилах, – заметил его замешательство Берзин и поспешил ретироваться. – Если что, если монастырские обеты запрещают, то... я тоже не буду... искушать вас. У нас ведь пост сейчас вроде? ... я слышал.

– Нет-нет, что вы, – встрепнулся Богатов, – я невольно смутил вас, простите, – он снова заулыбался и, подавшись чуть вперёд, определил руки на краю столика. Будто демонстрируя этим, что готов к трапезе. – Монашеских обетов я не давал, не успел. Я послушник,... и то бывший. К тому же пост закончился как раз сегодня. Нынче праздник. Так что... если вы не передумали, то... я с удовольствием.

Пётр Андреевич с готовностью достал свой чудесный дедморозовский пакет и извлёк из него красивую коробку дорогого французского коньяку, а также два маленьких пластиковых стаканчика, нарезанный тоненькими кружочками лимон в пластмассовом дорожном контейнере и увесистую гроздь мясистого чёрного винограда.

– Все фрукты мытые, – уведомил он, с изяществом сервируя столик, – так что не стесняйтесь.

Затем он аккуратно, чтобы не повредить коробку, открыл её, достал бережно на свет Божий тёмную бутылку причудливой формы и потряс ею в воздухе, любуясь на свет игрой шустрых пузырьков.

– Хороший коньяк. Дорогой! – как бы нечаянно заметил Берзин вслух.

– Пётр Андреевич, так может не надо, может не стоит открывать? – смутился в свою очередь Аскольд. – Вещь-то действительно ценная. Небось, для случая брали?

– Стоит, друг мой. Стоит! – уверенно ответил собеседник и самым решительным движением откупорил бутылку. – Хорошая вещь тогда только хороша, когда используется по назначению. Коньяк красив и ароматен в бокале, а вкусен на устах. В бутылке же он вовсе никакой,... что тот чай. Хотя, чаёк тоже в своём роде замечательно,... но это мы в другой раз... попозже. А сейчас...!

Пётр Андреевич ловко и артистично разлил янтарную влагу, наполнив на треть пластиковые стаканчики. По купе поплыл ровными тягучими волнами непередаваемый аромат хорошего коньяка, создавая атмосферу праздника и сближая собутыльников из случайных, посторонних друг другу попутчиков в тесную, радушную компанию сотрапезников.

– За знакомство!

Выпили по единой. Закушали сочным, изрядно сдобренным сахаром кисло-сладким лимоном. И отвалились от столика на мягкие спинки диванов, вкушая неспешное действие крепкого алкоголя. Яркое, рвущееся всеми лучами в купе скорого поезда солнце, звучащая из-за окна симфонией красок, линий и безграничностью объема прелесть природы, само бытие, диктующее упрямо неизбежность своего продолжения, – всё вибрировало в унисон желанию и даже потребности отдалиться неторопливому течению жизни без сопротивления. Случается, что ощущение гармонии момента настолько овладевает всем существом человека, что, напроочь отключая разум, до предела обостряет все чувства, окуная его с головой в беспредельность, в вечность. Тогда кажется, что вот это самое мгновение и есть причина и одновременно цель жизни, которая никогда и ни за что теперь не закончится, которая и есть судьба. Так бывает в моменты влюблённости, озарения и за секунду до смерти.

– Хорошо! – объявил Пётр Андреевич.

– Хорошо... – умиротворённо согласился с ним Аскольд.

– Вы упомянули про праздник, – проговорил Берзин, как бы воскрешая что-то в сознании. – Простите Бога ради, я не слишком сведущ в церковных датах, моя жизнь определяет иные приоритеты. А что за праздник?

– День Первоверховных Апостолов Петра и Павла, – просто, без тени осуждения подсказал Богатов. – Кстати, это день вашего Ангела, вы сегодня именинник. Поздравляю. Прошу прощения, что не имею никакого подарка для вас. Так неожиданно всё... Хотя... Пойдите...

Аскольд пододвинул к себе простенький чемоданчик, лежащий до сих пор на другом конце дивана, открыл, покопался несколько секунд в его содержимом и достал небольшой предмет прямоугольной формы, аккуратно завернутый в лоскут белой материи.

– Вот. Это как раз кстати, – проговорил он, воодушевляясь и разворачивая подарок. – Возьмите, это вам! С праздником вас и с именинами, Пётр Андреевич! От души рад, что пригодилось!

Аскольд протянул на ладони небольшой, размером с записную книжку предмет. Пётр Андреевич принял его в левую руку, свободной правой достал и надел на нос очки и стал внимательно, с неподдельным интересом разглядывать.

Это была икона. Маленький список с древнего оригинала. На иконе изображены двое мужчин в полный рост, головы их на четверть обращены друг к другу и на три четверти во фронт. В руках одного из них книга, у другого древко креста, свиток и три ключа. Над ними помещена полуфигура Иисуса Христа, благословляющего, дающего великую неземную власть.

– Это Апостолы Пётр и Павел, – пояснил Богатов. – Я списал её с Корсунской иконы середины одиннадцатого века, самого раннего из известных произведений русской станковой живописи. Не с оригинала разумеется, с репродукции. Сама икона хранится в Новгородском музее-заповеднике и происходит из Софийского собора. По преданию, её привёз из Корсуни сам великий князь Владимир Мономах, потому она и получила название «Корсунская».

– Так это вы сами писали? – искренне удивился Берзин, не отрываясь от иконки. – Здорово! Великолепно! Такой вещи у меня никогда не было. Вот спасибо! Огромное вам спасибо, Аскольд! Поистине царский подарок!

Пётр Андреевич, не на шутку изумлённый внезапно свалившимися на него и праздником, и подарком, рассыпался словами неподдельной благодарности. Очевидно, несмотря на своё увлечение коллекционированием картин, живую, рукописную икону, пусть современную, но хранящую в себе дух и силу древнего оригинала, он держал в руках действительно впервые. Да ещё подаренную ему столь неожиданно самим автором – мастером-иконописцем. Он даже достал откуда-то карманную лупу и внимательно рассматривал через неё каждый штрих, каждую чёрточку произведения, непрерывно повторяя вслух: «Вот это да! Вот здорово! Ах, какая прелесть!». От доски ещё доносился запах свежей краски и левкаса, так что Пётр Андреевич не удержался, поднёс иконку к носу и вдохнул воздух полной грудью, ... как делают обычно дети с новыми, только что подаренными им вещами.

– Свежая?! – не то спросил, не то утвердительно произнёс Берзин.

– Да. Специально к сегодняшнему празднику делал. Торопился успеть, – Аскольд не скрывал радости и удовлетворения, наблюдая со стороны за всеми движениями и лицом своего нового знакомого. Ему было приятно и по-детски восторженно от мысли, как всё иногда удачно сплетается в этом мире, – и как видите, успел...

– Ещё раз сердечно благодарю вас за подарок, – уже без пафоса, но с неподдельным радушием и искренностью произнёс коллекционер и вновь склонился над образом. – Скажите, а который из них Пётр?

– Тот, который с ключами, крестом и свитком, – Богатов через столик склонился над образом, показывая и разъясняя каноническое значение иконописной атрибутики. – Свиток олицетворяет Христово учение или Евангелие, разносимое святыми посланниками во все

языщи. Иногда то же значение имеет книга. Видите, Павел держит в руках именно её. Так в христианской иконографии традиционно изображаются все апостолы. Древко креста символизирует крещение и спасение от вечной смерти, а одновременно посох странника – ведь именно апостолы, бродя по миру и крестя людей во имя Отца, Сына и Святого Духа, создавали первые христианские общины. Ключи же – характерная принадлежность конкретно Петра – означают совокупность церковных Таинств, являющихся символическими ключами от Царствия Небесного. *«Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах»*¹¹.

– Так вот ты какой, святой апостол Пётр? – еле слышно прорвался сквозь пелену созерцательного размышления голос Петра Андреевича. А вслух он добавил, отрывая взгляд от доски. – Буду хранить эту икону не только как ваш подарок, но пуще как образ моего небесного покровителя. От всей души благодарю вас, Аскольд Алексеевич!

Берзин неумело перекрестился, поцеловал иконку и определил её на вагонную полочку у изголовья.

– Так вот он и случай! Ну, раз так, тогда нужно за праздник по маленькой! – радостно потирая руки, проговорил он и снова наполнил на треть пластмассовые стаканчики. – С праздником!

– С днём вашего Ангела вас, Пётр Андреевич! – присоединился к тосту Аскольд. – И дай вам Бог здоровья, удачи и большой-большой любви!

– Спасибо!

Тем временем поезд подъезжал к узловой станции. За окном уже появились одинокие пристанционные постройки, отдельные сцепки вагонов и даже целые грузовые составы, качающиеся в ненасытный центр природные богатства крайнего севера и ожидающие на запасных путях зелёного сигнала светофора. На заброшенных, поросших травой и кустарником тупиковых ветках всё чаще стали встречаться кинутые полуразрушенные локомотивы и вагоны, нашедшие тут своё последнее пристанище после нелёгкого и, как оказалось, неблагодарного труда на благо старухи-родины. Лес отпрянул куда-то ближе к линии горизонта, естественной прелести природный пейзаж уступил место убогому рукотворному, которому даже яркое летнее солнце не в силах придать хоть сколько-нибудь красоты и привлекательности. Вагон, сбросив скорость до минимума, вяло и неохотно выкатился к перрону, вздрогнул всеми своими железными нервами и, вздохнув тяжело, остановился как вкопанный.

– Предлагаю выйти на воздух, – сказал Пётр Андреевич. – А то в этом купе чувствуешь себя как аквариумная рыбка в тесной литровой банке. Вы не знаете, сколько тут стоим?

– Полчаса как минимум, – ответил Аскольд. – Узел, тут «лошадь» меняют, так что подышать и размять суставы вполне успеем.

Пассажиры один за другим высыпали на полупустой перрон, впрочем, не расходясь далеко, а ожидая какой-нибудь каверзы, кучковались небольшими группками вблизи дверей своих вагонов.

– Странное ощущение, – проговорил Берзин, тревожно озираясь по сторонам и не находя за что бы зацепиться взглядом. – Будто на забытом Богом острове, покинутом даже туземцами. Мне узловые станции как-то иначе представлялись.

– Так городок-то маленький, что-то около десяти тысяч жителей, даром что узел, – ответил Богатов. – Сама станция основана в тридцать седьмом на месте лагеря, так что город стоит, можно сказать, на костях. Зэки строили эту дорогу, некоторые после срока оставались тут на поселении, работали на станции. Кому было куда ехать – уехали, а для кого мир замкнулся в этих болотах – осели, пустили корни. Человек везде выживает. Мой дед отбывал срок в этих

¹¹ Евангелие от Матфея (16,18—19).

местах, тут и жил потом на поселении, сюда привёз жену с тремя детьми мал мала меньше. Родители мои...

– О, смотрите, коммерция и тут процветает! Значит, жизнь есть даже там, где её быть не должно, – непринуждённо перебил Берзин Аскольда. – Пойдёмте, полюбуемся дарами местной природы. Может быть, купим что-нибудь экзотическое, – и он пошёл, не дожидаясь своего попутчика. Богатов отправился следом.

Слева от здания вокзала, прямо на перроне выстроился небольшой торговый ряд. Разумеется, стихийный, из местных бабушек, которым всегда есть что предложить проезжему люду, даже там, где и предлагать-то особо нечего. Когда свободная торговля единственное средство для выживания (на пенсию ведь не проживёшь), предложение всегда найдётся. А спрос, ... какой особый спрос может быть у пассажиров проходящих поездов дальнего следования? Что покушать, коротая скучные дорожные часы, чем полакомиться из скудных даров экзотической северной природы, да так кой-что из сувениров местного фольклорного колорита. Тем и торгуют бабушки-старушки – и проезжим странникам хорошо, и себе ощутимая прибавка к пенсии. Круглая варёная картошечка, изрядно сдобренная сливочным маслом и щедро окропленная пахучей зеленью укропа, ещё горячая, сохранившая жар печи под тремя слоями вчерашней газеты и лоскутным стёганным одеялом. Маринованные грибочки – опять, грузди, лисички – так и просятся на острие вилки и быстрёхонько в рот, перебить сивушный запах злого, мутного самогона. И этот, разлитый в литровые штофы, тут же рядышком, под полой хоронится от цепкого взгляда докучливого милиционера. Да ладно б если реквизирует по совести, по акту, а то ведь отымет да сам и выдует, сволочь, а бабушку без сахарку оставит. Тут и различные соленья да выпечка домашняя прямо из печи – колобки да шаньги, пирожки да рыбники, кулебяки с кренделёчками – всё румяное, сдобное, а пахнет так, что пройти мимо ну нет никаких способностей. Особое же место в ряду по праву занимают ягоды из местных северных лесов – черника с голубикой, клюква да морошка, брусника и вороника – всё свежее, спелое, по пакетикам да кулёчкам расфасованное для удобства пассажиру. А хошь, так тебе и перетёртое с сахаром, или в виде варенья, закатанное в пузатые стеклянные банки. На все вкусы товар, что твой восточный базар. Только маленький очень.

У Петра Андреевича аж глаза разбежались, а в носу от запахов так защекотало-заёрзало, что чихай не чихай, а кошель доставай да бери-покупай. Аскольд же, пока Берзин выбирал да торговался со старушками, отошёл в сторону, в самое начало, в голову торгового ряда, где стояла коммерческая палатка, наполненная товаром вовсе не экзотическим, но повседневно-будничным, необходимым не только для проезжего люда. Его не было всего несколько минут, а когда он подошёл снова, Пётр Андреевич уже рассчитался с рыночными бабушками и с наслаждением отправлял в рот прямо из пакетика горсточку свежих лесных ягод. Аскольд тоже не остался без приобретения – он держал в левой руке небольшую прямоугольную коробочку размером чуть поменьше давешней иконки, что подарил своему попутчику. Правой свободной рукой открыл её, достал и определил в рот сигарету, затем чиркнул зажигалкой и закурил.

– Вы курите? – удивился Берзин. – А разве в монастыре можно?

– В монастыре, конечно же, нельзя. Да там и коньяк нельзя, – ответил Богатов, с наслаждением делая глубокую затяжку. – Там я, естественно, не курил, а вот как вышел, вдохнул мирского воздуха, так тут тебе и коньяк, и сигареты... Опьянел немного.

– Ты ещё скажи, что это я тебя совратил с пути истинного, – обиделся Пётр Андреевич, незаметно переходя на «ты».

– Нет, что вы, никто тут не виноват. Я сам и виноват, чай не ребёнок, понимаю, что делаю, – поспешил успокоить его Аскольд и, сделав новую затяжку, выпустил из лёгких струю табачного дыма.

– Фу, какая гадость! Дыши в сторону, – Пётр Андреевич отступил на шаг, Аскольд отвернулся. – Я вот никогда в жизни не курил. Один только раз, ещё в молодости попробовал, мне жутко не понравилось. С тех пор ни разу.

– А я с десяти лет курю, – с сожалением сказал Богатов, и было видно, что сожаление это искреннее. – Бросал сотни раз, в монастыре бросил, казалось, окончательно, четыре года в рот не брал.

– Так может не стоит и начинать снова? Зачем закурил-то?

– А ... – махнул рукой Аскольд. – Падший я человек, не могу противиться страстям своим. И хотел бы, верите, ... да не могу. Власть они надо мной имеют необоримую, и я поддаюсь той власти, как крыса волшебной дудочке Нильса. Видимо, нет мне спасения. И не будет прощения.

Берзин что-то отвечал, что-то ещё говорил ему на это, но Богатов не слушал. Не из пренебрежения, впрочем, его вниманием всецело завладел огромный лохматый пёс, что ковылял неспешно по перрону от одной группы пассажиров к другой. В псине этой угадывалась и порода, и стать, но только сильно запущенная, изъеденная подавляющими, определяющими всё его бытие условиями бродяжной жизни. Видимо, брошенный когда-то хозяином, он остался один на один с жестоким миром и теперь ищет в нём спасения от голода, холода, болезней, неустроенности своего бессмысленного существования. Шерсть его свалилась и спуталась в колтуны от грязи, правая передняя лапа волочилась, должно быть, пораненная или отмороженная затяжной северной зимой, морда, опущенная почти к самой земле, не смела подняться высоко и гордо, как когда-то в щенячьей юности, когда он был нужен и любим. Только глаза, взирая исподлобья снизу вверх, ещё искали у мира хоть какого-то участия, на что-то ещё надеялись. Хотя и чисто по-собачьи, наивно и безысходно, вовсе не так, как это бывает у людей. Ведь собака не человек – один в лесу ещё не волк.

Подойдя к очередной группе пассажиров, пёс останавливался, вилял мохнатым хвостом, какой-то застарелой собачьей памятью помня, что такое движение когда-то определялось человеком как радость и даже любовь. Он взирал на людей большими преданными глазами, и во взгляде этом читалось: «Смотрите, я такой, как вам нравится, каким вы хотите меня видеть. Полюбите меня и... дайте поесть». Но люди не обращали внимания на пса, они всегда были заняты своими важными разговорами, решали свои неразрешимые проблемы и брезгливо не замечали животину, нечаянно отворачиваясь. Тогда пёс опускал глаза на секунду, снова поднимал их на людей, как бы говоря про себя: «Бедные люди... у них тоже ничего нет», и плёлся дальше, к другой человеческой компании.

Вдруг на перроне появилась девочка лет пяти-шести, не из пассажиров, из местных, живущих в городке при станции. Она летела к собаке со всех ножек, крича на бегу звонким детским голосом.

– Шалик! Шалик! Ну где тебя челти носят?! Совсем ты у меня от лук отбился!

Подбежав, она упала перед псом на колени, развернула перед его мордой свёрток бурой промасленной бумаги и выложила прямо на земле поистине царский завтрак – куски чёрного хлеба, куриные косточки и даже две большие плоские котлеты. Пёс жадно набросился на еду, которая уже через мгновение исчезла в его бездонной утробе.

Девчушка, не вставая с колен, гладила пса по свалившейся грязной шерсти, обнимала его ручонками, целовала в морду, как самое дорогое в жизни существо, и всё причитала, причитала.

– Шалик... Шалик ты мой бедненький... Солнушко моё,... кушать хочешь, совсем поголодался... куда же ты убежал? ... я ещё вчела плиготовила тебе еду... звала тебя, звала: «Шалик! Шалик!», – а ты молчишь и молчишь,... я всю ночь плакала, что ты у меня такой голодный... глупенький мой... любименький мой Шалик...

Пёс неистово бил воздух хвостом, скулил восторженно, переполняемый собачьей любовью, не раз порывался вскочить на задние лапы, но опасаясь задавить своей массой девочку, только сучил передними об асфальт платформы и всё лизал, лизал свою покровительницу горячим влажным языком.

Люди на перроне с безгловым неудовольствием наблюдали за этой сценой и отходили прочь, подальше от девочки с собакой и поближе к дверям вагона.

– В каком же свинстве живут ещё у нас в России, – услышал Аскольд голос Петра Андреевича. – И чем дальше от Москвы, тем всё больше свинство является привычной нормой. Какая чудовищная пропасть между столицей и остальной Россией.

Тут объявили отправление поезда, и пассажиры поспешили занять свои места в вагонах, скоро позабыв о несчастной бродячей собаке, о не ведающей светской этики девочке и об их горячей взаимной любви.

Только Аскольд никак не мог оторвать внимания от счастливой пары на перроне невзрачной узловой станции. Уже в вагоне, двигаясь медленно по коридору, он всё смотрел на них сквозь грязные окна, а подойдя к своему купе, не стал входить внутрь. Так и остался стоять возле окна, наблюдая два живых существа, для которых мир вокруг в эту минуту был не более чем условностью, некоей внешней обстановкой их огромного внутреннего мира, в котором эти двое каким-то причудливым образом сплелись в одно и заняли собой его полностью. Что их сблизило? Что сроднило до такой чрезвычайной степени два этих совершенно различных, не похожих друг на друга существа? И что разделяет так сугубо, до непримиримости, до враждебности, часто до кровянки такие, казалось, схожие, подобные, единообразные твари Божьи, населяющие собой наш глухой и безучастный человеческий мир? Ответ на этот вопрос искал Богатов, искал вовне, меняя обстановку, тасуя поприща, примеряя на себя то те, то другие обстоятельства жизни. И не находил. В эту минуту подсказка казалась близкой, очевидной, протяни руку и коснёшься кончиками чувствительных пальцев её тёплой бархатистой поверхности. Она притаилась где-то рядом и только ждала терпеливо своего искателя, зная наверняка, что найдёт, отыщет и тогда уж непременно исполнит себя ею.

Поезд уже тронулся, поплыл в прошлое вокзал, полупустой перрон с девочкой и псом, перелистнулась очередная страница, оставляя после себя горечь сожаления о прочитанном и сладость вдохновения от предчувствия предстоящего впереди. Пётр Андреевич, задержавшийся с проводницей за сделкой о чае, подошёл неслышно, постоял пару секунд за спиной Аскольда и, не желая отвлекать его от размышлений, открыл решительно дверь купе.

– Здра-авствуйте! – услышал Богатов за спиной. – Ба! Да у нас тут гости, а мы и не знаем!

Аскольд обернулся, будто на зов трубы. В купе, на самом краешке дивана сидела, плотно сжав колени, молодая темноволосая девушка и большими чёрными глазами испуганно, как маленькая девочка, застигнутая за шкодой, смотрела на вошедшего.

Глава 3

– И каким же это ветром вас к нам занесло? Вы сейчас только вошли? На этой станции? А мы с Аскольдом Алексеевичем уж давно едем, успели даже подружиться. Смотрите, Аскольд Алексеевич, какую попутчицу нам Бог послал! Право, только ради такого чуда стоило останавливаться в этом Богом забытом месте.

Девушка вела себя как-то неестественно, напряжённо как-то, не похоже на пассажира, только что занявшего своё законное место согласно проездному билету. Она то поднимала глаза кверху, то опускала их долу, то улыбалась нервно и натянуто, будто собираясь, но никак не решаясь попросить о чём-то, то вдруг замыкаясь в себе, отгораживаясь от всего мира прочным светонепроницаемым занавесом. Её красивые тонкие руки на плотно сжатых коленях то и дело конвульсивно теребили изрядно уже помятый, испачканный чёрной тушью носовой платок. Так ведёт себя забывшая билет студентка перед строгим профессором, или восточная невеста, впервые увидевшая жениха на роковом ложе первой брачной ночи.

– Извините... – наконец произнесла она и попыталась встать.

– Сидите, сидите! – тут же среагировал на её внезапный порыв Пётр Андреевич. Он потечески покровительственно положил ладони рук на её хрупкие плечи, усаживая девушку на место. – Никакого неудобства, вы мне абсолютно не мешаете, напротив, приятно посидеть на одном диване с этакой красавицей. Мы даже готовы, если хотите, уступить вам наши нижние полки, ... а сами переберёмся к вам наверх? – Берзин сделал это предложение неожиданно и вполне серьёзно, причём от лица обоих попутчиков, как будто вопрос этот давно уж был решён между ними. – Выбирайте любую, хоть ту, хоть эту. Мой диван по ходу поезда – первой будете встречать все красоты окружающего мира. Хотя, должен вас предупредить, здесь дует немного ... ммм ... пожалуй, на диване Аскольда Алексеевича вам будет и уютнее, и покойнее, – легко и непринуждённо разрешил он все нюансы, оставалось дело за малым, за незначительным росчерком визы «Не возражаю». – Вы ведь не против, Аскольд Алексеевич?

Богатов всё время этого разговора оставался стоять в коридоре вагона, не двигаясь и, казалось, никак не реагируя на слова Берзина. Он был в эту минуту похож на изваяние, на каменного истукана, безучастного ко всему происходящему, полностью погружённого в свои сокровенные мысли. И мысли его были явно посвящены незнакомке – этой хрупкой потерянной девушке, волею судьбы помещённой в ситуацию, оказавшуюся для неё столь стеснительной, что выход из неё она усиленно искала и никак не могла найти. В глазах Аскольда явно угадывалось напряжение и даже натуга, с которой он отчаянно перетряхивал все антресоли, все самые отдалённые уголки своей захламлённой памяти, пытаясь отыскать в ней что-то, сейчас очень и очень важное для него.

– А где же ваши вещи? – вдруг спросил Пётр Андреевич, внимательно осматривая всё купе. – Что ж вы, ... так ... налегке? С одним носовым платочком? Непростительное легкомыслие в наше время, – попытался пошутить он, но вышло как-то не очень смешно. Зато вполне основательно, потому что слова эти окончательно смутили девушку.

– Извините. Я всё же пойду, – ещё раз повторила незнакомка, встала и направилась, было, к выходу.

– Пойдите! Куда же вы?! – Богатов, не отрывая от неё глаз, решительно сделал шаг в купе и перегородил собою выход. – Вам же... совершенно некуда идти.

Она подняла взгляд на Аскольда. Глаза их встретились, и в этом немом диалоге буквально за одно мгновение промелькнула целая жизнь со всеми её радостями и печалью, невзгодами и надеждами, потерями и приобретениями. От него к ней, от неё к нему.

Этот диалог действительно продолжался не больше крохотного мгновения. Она не смогла вынести его взгляда, пронизывающего насквозь и, казалось, ощупывающего её всю изнутри,

обнажающего её самые потаённые чёрточки и ... любующегося ими с неожиданным восторгом. Ей не было неприятно или конфузно, напротив, она почувствовала проникновение в себя чего-то такого, всегда желанного, о чём мечталось с тех пор, как впервые осознала себя женщиной, чего так искалось и так не доставало ей все эти годы. Но в то же время именно это осекло, буквально пресекло внутренний позыв к открытости, а точнее всегдашняя привычка отторгать обманчивую привлекательность внешне яркой оболочки, за которой неизменно таится ... нет, не обязательно боль, но уж непременно обыденность жизненной прозы. А уж обыденности-то ей хватало вдосталь.

Девушка смущённо опустила глаза, подняла их снова и вновь опустила, обжегшись. Она чувствовала, как тает под горячим напором его взгляда, и от этого ей было страшно стыдно, неловко, обидно за такую свою слабость, но вместе с тем легко и естественно, как птице во время полёта. И как же тут выбрать между привычным и естественным? Как же обозначить себя твёрдо и однозначно, когда так хочется мягкости и многозначительности? Как?! Как!? Невольно её взгляд уткнулся в настежь распахнутую дверь купе, отчего она вся вдруг съёжилась, напряглась, в глазах, ещё только что обещавших ожить и засветиться, вновь утвердился страх.

Не оборачиваясь, даже не отводя взгляда от неё, Аскольд решительно захлопнул за спиной дверь купе. Незнакомка, не в силах больше бороться с нахлынувшими на неё противоречивыми чувствами, вновь опустилась на край дивана и, закрыв лицо руками, заплакала.

– Что такое?! Что случилось?! Вот так оказия, – Пётр Андреевич, несколько растерявшись от такого поворота событий, не знал, что предпринять, как разрулить сложившуюся ситуацию. Он кидал испуганные вопрошающие взгляды то на девушку, то на Аскольда, то, не найдя в них разрешения вопроса, на столик, будто ожидая обнаружить на нём средство, всё объясняющее. – Может, воды? Попейте водички, сударыня... – но, не обнаружив даже воды, тут же нашёлся, – сейчас чай принесут.

В это время проводница действительно принесла два стакана чая в облупившемся золоте дюралевых подстаканников и, готовая ко всему, что может произойти в частной жизни её пассажиров в дороге, поспешно и безучастно ретировалась. Она ведь на работе, а работа ни в коем случае не должна быть подвержена влиянию личных, не имеющих никакого отношения к производственному плану переживаний.

– Успокойтесь. Не надо так.... Всё будет хорошо, – Аскольда почему-то несколько не удивляли слёзы незнакомки, более того, ему казалось, что всё должно быть именно так, непременно так. Хотя, что должно быть? и почему непременно так? он не мог себе объяснить. Всё шло, как идёт, и этого объяснения на тот момент ему было достаточно.

Он только еле коснулся плеча девушки, но та вдруг перестала плакать, отняла ладони от лица и подняла на него большие чёрные глаза. Богатов инстинктивно одёрнул руку.

– Выпейте чаю, – предложил он после короткой паузы, беря со стола подстаканник и протягивая его незнакомке. – И поверьте, теперь всё будет хорошо.

– Спасибо, – поблагодарила девушка и жадно отпила большой глоток, будто именно в нём и заключалось то самое, так щедро, так искренне обещанное ей «хорошо».

Аскольд со стороны внимательно и пристально рассматривал её. Она уже не казалась столь молодой и столь юной, как увиделось вначале. Морщинки вокруг глаз, а также редкие седые волоски в богатой вороной шевелюре говорили о прожитых годах – что-то около сорока. Но хрупкость и гибкость стана, тонкие, правильного сочетания черты лица, а особенно большие, одухотворённые, полные детской наивности и доверчивости глаза перекрывали все «достижения» возраста и делали её красоту поистине неувядаемой, царской.

Есть женщины, которые не стареют. Которые, как хорошее вино, с годами становятся всё более пьянящими, всё более волнующими сердце и будоражащими кровь, от которых никогда не ожидаешь похмелья, а только неспешное течение послушной мысли при чрезвычай-

ной ясности и прозрачности ума. Эта была из таковых. Богатов невольно залюбовался ею, как плотном великого мастера, в котором и красота, и трогательная нежность и неразрешимая загадка призрачной улыбки, отгадать которую не под силу этому миру, как ни старайся. И действительно, когда незнакомка поднимала вдруг глаза и встречалась взглядом с Аскольдом, она улыбалась именно такой волшебной улыбкой – благодарной, ничего не обещающей взамен, но столь чистой и бесхитростной, что всё обещалось само собой.

– Спасибо вам, – сказала она, допив чай почти до конца и возвращая стакан, – вы правда мне здорово помогли.

Богатов потянулся за стаканом и невольно поймал её руку. А может, это было не так уж и невольно, возможно само провидение приблизило их друг к другу и подарило точку касания, столь наивную и безвинную, что подозревать в чём-то кого-нибудь из них стало бы верхом глупости. Но на то она и глупость, чтобы суметь оказаться в самый ненужный момент в самом ненужном месте.

Дверь в купе с шумом распахнулась настежь, и на пороге появился совершенно незнакомый мужчина, явно не по возрасту седой и с гневным, горящим взором. Седина в сочетании со строгими, правильными чертами придавала его лицу чрезвычайный шарм и красоту, а гневный, острый как разящий меч взгляд делал эту красоту поистине демонической. Незнакомка импульсивно отдернула руку, стакан упал, разливая по полу остатки недопитого чая. В воздухе повисла тревожная тишина, даже Пётр Андреевич, всегда знающий, что и как сказать, на этот раз молчал. Незванный гость медленно и строго оглядел всех присутствующих и остановил взгляд на девушке. При этом глаза его выражали неописуемый гнев и даже ярость, граничащую с безумием.

– Пойдём, Белла. Хватит, нагулялась уже, – сказал мужчина на удивление спокойно и даже холодно, но было очевидно, что удалось ему это с трудом.

Он взял женщину за руку, властно, хотя и не грубо поднял её с дивана и вывел из купе, как выводят породистую кобылицу из загона.

Через мгновение он вернулся.

– Извините, – произнёс так же холодно на прощание и захлопнул дверь.

Поезд нёсся как угорелый сквозь непроходимый чёрный лес, неистово стуча колёсами и завывая могучей тревожной сиреной на редких крохотных полустанках. Солнце уже довольно высоко поднялось по небесной лестнице вверх и должно было особенно рьяно печь, испепеляя всё вокруг. Однако небольшая, одинокая, но чрезвычайно плотная тучка выплыла откуда-то и загородила собой его сияющий диск, отчего лес справа и слева от вагона стал ещё чернее, ещё непрогляднее. И ладно бы дождик, в такую сушь земля особенно нуждается во влаге, но у тучки на этот счёт были, видимо, свои мнения и планы. Она просто вынырнула из небытия и взгромоздилась тут посреди небосвода для всеобщего осмотра, заслонив собой солнце. Ни дождя, ни света, кругом только чёрный, казавшийся мёртвым лес.

Проводница уже подняла и унесла опрокинутый стакан, вытерла с пола пролитый чай и оставила двух попутчиков вновь наедине друг с другом да с их разговорами и мыслями. Только разговор, прерванный столь внезапно и неприятно, никак не возобновлялся, не клеился, будто в купе было вовсе не двое, а как бы один и ещё один, ... каждый сам по себе, без обоюдодовлекательной беседы, всяк со своими индивидуальными думами. Но если такое положение вполне способно удовлетворить монаха, порой даже писателя, то человека светского, открытого, привыкшего находиться в центре внимания, оно никоим образом не удовлетворяло.

– А вы, я вижу, в монастыре своём не только по коньяку да сигаретам соскучились, – нашёлся вдруг Пётр Андреевич как прервать паузу. Слова эти прозвучали вовсе не как устыжение, но напротив, как приглашение к развитию привлекательной, пикантной темы. О чём же

ещё говорить под мелодичное постукивание вагонных колёс двум интеллигентным господам, ... как не о дамах?

– Эх, давайте ваш коньяк! Гулять, так гулять! – ожил Аскольд.

Берзину, по всей видимости, не очень понравилась идея погулять с его коньяком, но увидав, как вновь засветились, заиграли, глаза попутчика, перечить не стал. Наверное, перспектива провести остаток пути в одном купе с преисполненной своих тяжких думок мумией емуглянулась ещё меньше. Он снова достал убрannую уже бутылку и разлил по стаканчикам свежие порции.

– Ну, за баб-с! – лихо, по-гусарски поднял свою Пётр Андреевич.

– Нет. За баб стоя пьют, – слегка улыбнувшись, принял шутку Аскольд и добавил тихо, – а мы так, без излишней шумихи. За женщин!

Выпили. Закусили лимончиком.

– Понравилась? – спросил Берзин, тщательно облизывая сладкие от засахаренного лимона пальцы.

– Очень... – не задумываясь, ответил Богатов.

Он был как бы не в себе, будто преисполненный энергией для немедленного решительного действия, не терпящего отлагательства. Но сила эта бурлила, играла, копилась у него внутри, в то время как внешняя оболочка, будто облитая толстым слоем застывшего воска, оставалась неизблемой, сдержанно спокойной.

– Значит, вот такая красота тебя привлекает?

– Да... – Аскольд отвёл глаза в сторону, сосредоточив взгляд на некой невидимой точке, как бы всматриваясь внутрь себя, в самую глубь, ... но уже через секунду вернулся к Берзину, – ... такая.

– Художественная красота? – уточнил Пётр Андреевич и, не дожидаясь ответа, продолжил. – Да. Хороша штучка. Очень хороша. Но ... если так можно выразиться ... не совсем в моём вкусе. Я люблю таких, знаете, ... с горчинкой, ... с лёгким таким изыянчиком, ... чтобы было, за что уцепиться глазу. А с этими прынцессами одна морока – то капризы, то слёзы ни с того, ни с сего, то ... ищи её вон по всему поезду. Ай... – махнул он рукой, – сплошные семейные неурядицы и нервотрёпка.

– Она не такая, – тихо, но твёрдо сказал Богатов, будто речь шла о его давней хорошей знакомой. Было заметно, что разговор этот ему неприятен.

– Эх, друг мой, да откуда ты знаешь, какая она? Такая, не такая...

– Знаю, – отрезал Аскольд и так посмотрел прямо в глаза Петру Андреевичу, что тот осёкся, определив про себя недвусмысленно: «Знает».

Разговор снова прервался, едва начавшись. В воздухе всё ещё витало напряжение, оставленное седым незванным гостем. Он сумел, появившись всего на несколько секунд, внести полный разлад в так удачно зарождающуюся идиллию кратковременной, ни к чему не обязывающей дорожной дружбы. И ведь чем более она ни к чему не обязывающая, тем более как бы дружба. Но это в идеале, а в жизни за всё нужно платить, точнее сказать, подпитывать. Поэтому Пётр Андреевич, уже без стороннего предложения сам взял в руку бутылку и снова наполнил на треть стаканчики живой, веселящей сердце влагой.

Выпили молча. Нужно было что-то предпринять, найти какой-то переходный момент, «момент истины», протянуть некую связующую нить для склеивания расстроившейся внезапно компании. Хорошо, когда кто-то из собеседников имеет способность находить такую нить, это своего рода талант, воистину находка для любого общества, даже самого необязательного, краткосрочного.

– Эх... – шумно вздохнул Берзин и начал свой монолог. – Был у меня один приятель, ... хороший приятель, близкий, почти что друг. Он и сейчас ещё есть да вполне себе здравствует, дай Бог прожить ему ещё долго и счастливо. Мужчина он, надо сказать, серьёзный, положи-

тельный, при хорошем деле и на приличной должности. Так что со стороны может показаться – живёт себе человек, словно в масле сыр катается. И угораздило же этого моего приятеля влюбиться. Да не просто так, а всерьёз, что называется, до выворота души наизнанку. Не лишним будет обозначить, что у него семья, замечательная жена, дети хоть и не маленькие уже, но ... но всё ж таки дети. Видит он, что дело швах – чем дальше, тем больше отдаляется он от семьи и прилепляется к этой своей возлюбленной. И у той семья замечательная – муж хороший человек, сын. Вот встретились они как-то, бутылку вина дорогого взяли и стали говорить этот давно назревший разговор. Ни тот, ни другая семьи свои рушить не хотят, это святое, а и друг без друга им никак невозможно, так уже прилепились-приклеились, что не отодрать без крови. Погоревали они так, поплакали дружка дружке в плечо, а делать нечего, чем дальше, тем больнее рвать по живому. А рвать-таки придётся, ничего не попишешь. Это всё мне приятель мой сам потом рассказывал за рюмкой коньяку, ... вот как я вам сейчас тут. Да-а... Так и порешили, что была у них это последняя, прощальная встреча, их лебединая песня. Пропели они её с невиданной страстью и вдохновением да разошлись навсегда. Приходит он домой, думает: «Слава Богу, что жене ничего не успел сказать, не наломал дров. Если б она узнала про такое, то ни секунды не осталась бы со мной. Это уж я точно знаю». Стоит он так в прихожей, спиной дверь подпирает, а на душе хреново, в глазах слёзы горячие, в горле комок огромный, размером с земной шар, не проглотить его, не выплюнуть. Тут жена из комнаты вышла, подходит к нему, кладёт свою тёплую мягкую руку ему на плечо и говорит так тихо, с сочувствием: «Ну что, милый, тяжело расставаться с любовью? Вот и мне тяжело. Раздевайся, будем ужинать». Смахнул он слезу украдкой, сглотнул комок и стал жить дальше. Так и живёт по сей день. С женой.

Пётр Андреевич закончил свой рассказ и отвернулся к окну. Пока он говорил, тучка ни то рассосалась, ни то улетела куда-то, ни то пролилась тёплым дождиком на неведомые земли. Солнце снова единолично царствовало на небосводе и расцвечивало природу множеством ярких и сочных красок. Жизнь за окном вагона снова налаживалась, настраивалась на нужный лад и беседа наших попутчиков.

– Моя жена тоже замечательная женщина, мой единственный друг на всей земле, – с чувством проговорил Аскольд, и глаза его в этот момент светились искренней благодарностью.

– Жена?! Какая жена? Ты женат?! – неподдельно удивился Берзин. – Как же так? Монахам разве разрешается жениться?

– А я и не спрашивал ни у кого разрешения, – спокойно, глядя прямо в глаза Петру Андреевичу, сказал Богатов. – Я попросту взял и украл её.

Глава 4

– Украл?! Как это украл? Как в кино что ли? – засмеялся Пётр Андреевич. – «Будешь жарить шашлык из этой невесты, не забудь пригласить...»¹²

– Вы напрасно смеётесь, – совсем без обиды улыбнулся Аскольд, – я ведь взаправду украл.

– Да ну...? – всё ещё не верил Берзин, и хотя уста его продолжали улыбаться, глаза уже выражали неподдельный, живой интерес. – Ты это серьёзно?! Вот так взял и украл?! Занимательно!

– Именно вот так взял и украл. В новогоднюю ночь напоил её гражданского мужа, уложил его баиньки, а её в такси и домой. Так что никакого шашлыка вам не видать.

– Что ж она, тоже пьяная была, ничего не соображала? – продолжал сомневаться Пётр Андреевич.

– Нет, что вы. Она как бы на распутье была. Мы на тот момент уже около года дружили, я ухаживал за ней, невзирая на мужа,... предупредил ведь даже, что украду. Они посмеялись тогда, сочли за шутку. А я ведь не шутил. Мне думается, что она даже ждала чего-то такого, то есть заранее смирилась и выжидала только, кто из нас активнее будет и красивее её добьётся.

– А он что, муж её гражданский, так и уступил? – всё более втягивался в интригу Берзин.

– Нет, конечно. Когда проснулся и не увидел никого в квартире, всё понял. Стал звонить, ругаться, требовать,... потом просить. Через несколько дней приехал сам в галстук, с цветами и бутылкой дорогого вина. «Я, – говорит, – за Нюрой. Она моя жена и мы скоро распишемся. Ты, – говорит, – не имеешь права её удерживать».

– Ну а ты что? – не унимался Пётр Андреевич, предчувствуя, наверное, романтический трагичный финал с дуэлью.

– Ничего такого, что вы ожидаете, ни разборок, ни драки с поножовщиной, ни проклятий до седьмого колена. Всё спокойно и прозаично. «А я и не удерживаю, – отвечаю, – она не вещь какая-нибудь, чтобы её удерживать насильно. Нюра взрослая, самостоятельная личность, вот пусть сейчас перед нами обоими сама и решает, с кем ей оставаться».

– И что...?

– Уехала...

– А ты?

– А я три дня на коленках стоял,... вымаливал её у Господа.

– И...?

– Через три дня вернулась. Сама.

– Ишь ты! А ведь интересный сюжет.

– В моей жизни много всего интересного было. Бог даст, соберусь когда-нибудь, да и напишу роман ... и назову его ни много, ни мало – «Право на безумие».

– Довольно странное название для романа, – задумался Пётр Андреевич. – А почему безумие? И какое такое на него может быть право? По-моему, если человек больной, то он и сам тому не рад. Кому понравится, когда на тебя все пальцем показывают да ещё дразнят идиотом? Тут поневоле лечиться пойдёшь.

– Только заметьте, что лечат от идиотизма у нас всё больше именно поневоле, то есть принудительно, не оставляя безумцу никакого права быть тем, кто он есть.

Берзин задумался ещё больше. Даже не то чтобы задумался, он как-то весь собрался, напрягся, как поступают деятельные, самодостаточные внутри себя натуры, сталкиваясь с иной, отличной от своей точкой зрения. Даже будучи от природы радушными и открытыми,

¹² Цитата из кинофильма Л. Гайдая «Кавказская пленница».

они часто воспринимают подобные расхождения во взглядах как личный вызов, а иногда даже как оскорбление.

– Так что ж, по-вашему, всех сумасшедших на волю выпустить, и пусть творят что хотят? Тогда нормальным от них житья не будет. И так нет, в этом легко убедиться, проехав на автомобиле по улицам Москвы. От их дорожного хамства невозможно укрыться, ... они везде! Особенно эти, с мигалками. Вот кого бы изолировать, да в день по три укола скипидара в жопу¹³ вместо завтрака, обеда и ужина. Нет, не выпускать надо, а закрывать, очищать страну от идиотов.

– И кто, по-вашему, будет определять человеческую нормальность, кто будет заниматься селекцией идиотов от неидиотов? Откуда вообще взялся этот критерий нормы? Кто его установил? И разве это нормально, когда одни люди запирают других за решётку только потому, что те не похожи на них?

– А если они представляют опасность для окружающих, для общества?

– Опасность друг для друга представляют всё больше люди вполне адекватные, отнюдь не идиоты. И именно они присваивают себе право определять, кого сажать, а кого оставить пока ... пока не слишком буйный. И вообще, чем больше у человека реальной власти над себе подобными, тем реже он замечает это подобие, тем чаще поддаётся искусу разделять людей на нормальных и ненормальных. Не замечали?

Пётр Андреевич рассмеялся. Но смех его был не вполне естественным – не наигранным, не вымученным, но всё же в смехе том было что-то неправильное, что-то постороннее, никак не связанное с проявлением радости и веселья.

– Я всегда старался относиться к людям так, как хотел бы, чтобы они относились ко мне. Но я постоянно вижу, что быдло принимает такое моё отношение как само собой разумеющееся, как моё согласие с их правом оставаться быдлом. Они не понимают разницы между собой и человеком, обличённым гораздо большей ответственностью и заботой о них же. Поэтому я предпочитаю сегодня так относиться к людям, как они относятся ко мне. Око за око, зуб за зуб¹⁴. И считаю это правильным, разумным, справедливым.

Аскольд хотел, было, возразить, но передумал. Оставаясь в диалоге мыслью, он как бы вышел из него душой и снова погрузился во что-то своё, постороннее, но имеющее, как ему казалось, неразрывную связь с происходящим.

– Вы вот сейчас про приятеля рассказывали, позвольте и мне поведать вам о своём, – заговорил он после недолгой паузы. – Несколько лет назад, ещё до монастыря, жили мы с женой в Сыктывкаре¹⁵. Был у нас неплохой бизнес, не то чтобы крупный, но кормящий нас сытно, дающий основания полагать, что жизнь вроде бы удалась. И вот в это самое время судьба сводит нас с одной семьёй, случайно сводит, внезапно, словно снег на голову. Воистину неисповедимы пути Господни, каждому даёт Он шанс по водам ходить, ... было б желание. Семья та небольшая, всего двое: женщина лет за пятьдесят, очень простая, малограмотная, побитая жизнью, да сын её – взрослый молодой человек двадцати пяти лет от роду. Жили они вдвоём в небольшой, но уютной двухкомнатной квартирке в самом центре города. А мужа-отца у них не было –

¹³ Укол скипидара в жопу – «передовой» метод лечения, особо популярный в сталинских психушках.

¹⁴ Око за око, зуб за зуб – Принцип талиона – древний принцип назначения наказания за преступление, согласно которому мера наказания должна воспроизводить вред, причинённый преступлением. Весьма полно выражена была идея талиона в еврейском праве. Ветхий Завет содержит одну из древнейших известных формулировок этого принципа – фраза «око за око» является цитатой из Книги Исхода (21:23—27)

¹⁵ Сыктывка́р – город республиканского значения в России, расположенный на реке Сысола, столица и крупнейший город Республики Коми. Впервые упоминается в 1586г. как погост Усть-Сысола, находившийся при впадении Сысолы в Вычегду. В 1780г. по Именному Указу Екатерины II Великий погост был преобразован в город и назван Усть-Сысольск. Местное население перевело компоненты этого названия на свой язык и называло город Сыктывдин, где «Сыктыв» – принятое у коми название Сысола, а «дин» – по коми устье, то есть место у устья Сысолы. В 1930г., когда отмечалось 150-летие города, он был переименован в Сыктывкар (от коми Сыктыв – Сысола; кар – город) что означает – «город на Сысоле».

умер, когда Серёже не стукнуло ещё и десяти. И всё вроде бы нормально, обычная семья, каких много у нас по всей стране, ... но всё-таки не совсем обычная, не вполне нормальная, а напротив, трагичная. Дело в том, что молодой человек, Серёжа, сын этой женщины страдал какой-то страшной неизлечимой болезнью, своего рода безумием, не буйным впрочем, не опасным для окружающих, но лишившим его самых элементарных способностей, столь естественных для человека. Он не мог сам нормально передвигаться, только как бы ползком, ничего не мог удержать в руках, просто не понимал, как это делается, не способен был сам кушать, его приходилось кормить с ложечки как младенца. Он даже ходил под себя просто потому, что не мог ни дойти сам до туалета, ни сказать, чтобы его отнесли. Иногда матери удавалось по каким-то усвоенным ею признакам предугадать, почувствовать, что Серёже нужно справить нужду, тогда она тащила его на себе в уборную, снимала с него штаны, усаживала на унитаз и, удерживая в равновесии, повторяла как маленькому на горшке: «Пс-пс-пс, пс-пс-пс». Это могло бы выглядеть смешно, даже потешно, если бы не было так страшно. Потому что если «поймать момент» не удавалось, а так случалось часто, то понимаете сами, что из этого выходило. Во всей квартире, особенно вблизи Серёжиного дивана, с годами образовался стойкий запах таких вот «упущенных моментов». Но ещё больше пугали внезапные приступы Серёжиного смеха, совершенно безосновательного, беспричинного, равно как и такие же неожиданные истерики с реальными горячими слезами, которые можно было бы легко и естественно назвать искренними, если бы для них был хоть какой-то, хоть малейший повод. Он начинал то хохотать, то рыдать совершенно на пустом месте, вдруг, внезапно, и также резко прекращал, будто у него выключили некую специальную программу. Эти приступы были не особо частые, но всегда неожиданные, внезапные, как гром среди ясного неба, проходили бурно, неистово, переполненные такой всамделишной гаммой чувств и переживаний, что неудержимо хотелось плакать или смеяться с ним вместе. Короче говоря, за Серёжей нужен был постоянный уход и пригляд. Когда ещё он был маленьким мальчиком, а мать его молодой женщиной, ей удавалось справляться с ним. Но теперь, когда ему двадцать пять, а ей за пятьдесят... Вот моя Нюра и вызвалась помогать этой женщине. Естественно бескорыстно, денег нам хватало. Она уходила сутра, а возвращалась поздно вечером уставшая, разбитая и физически, и морально, но неизменно с ощущением удовлетворения и даже радости на лице. Я старался помогать ей, когда бизнес позволял мне такие вольности, отпускал от себя, но надо сказать, что помощи от меня было как с козла молока. Да и делал я это, исключительно заставляя себя, понуждая как на ратный подвиг. Не то чтобы во мне не находило себе места сочувствие, нет, я искренне жалел и Серёжу, и его бедную мать, но постоянное ощущение какой-то брезгливости всегда отторгало меня даже от простого посещения их дома, заставляло прилагать серьёзные усилия над собой, чтобы преодолеть это отторжение. Тогда я придумал хитрую, как мне показалось, уловку. Я решил откупиться, то есть попросту стал выделять деньги на содержание этой семьи. Содержание – это слишком громко, лучше сказать, на посильное материальное вспоможение. Не по жадности, конечно, ... мы никогда не были богатыми людьми, но какие-то затраты на продукты и прочие домашние расходы я взял на себя. Но когда мать Серёжи однажды заболела, и её положили на два месяца в больницу, нам уж ничего не оставалось делать, как переселиться временно к ним. Серёжу нельзя было оставлять одного. Вот тогда мне пришлось научиться преодолевать и брезгливость, и отвращение к чужим кашкам, ведь Серёжу нужно было подмывать, когда он ходил под себя. Простите, что рассказываю это за столом... Правда в основном мыла его Нюра, я держал, но в этом как раз весь трагикомизм ситуации. Представьте себе молодую женщину – Нюре тогда не было ещё и тридцати шести – моющую беспомощного двадцатипятилетнего мужчину. Причём идиот идиотом, а реакции на прикосновения молодой женщины у Серёжи были вполне здоровые и адекватные. Мне даже показалось – скажу вам откровенно, я просто уверен в том – что Серёже это нравилось. Во всяком случае, гадить он стал чаще, а «поймать момент» оказалось совершенно невозможно. Я стал подозревать, что Серёжа вовсе не так

безумен, как думалось всем. В тех ситуациях, когда он получал удовольствие, действия его казались вполне осмысленными, а глаза приобретали какую-то живость и ... не знаю, как выразить моё ощущение, ... я отчётливо угадывал в них намерение и даже угрозу. Причём угрозу лично мне, потому что Нюра ничего такого в нём не замечала, только стыдила меня, упрекала в жестокой мнительности. Ответ был дан также неожиданно, как и всё в этой истории. Его, сама того не подозревая, дала мать Серёжи. Как-то она рассказала совершенно бесхитростно, даже краем сознания не подозревая, какую страшную тайну открывает нам, как ещё будучи на сносях Серёжей, позавидовала невестке, её здоровому, красивому, розовощёкому бутусу, племяннику своему по мужу. Она подробно и, что называется, с выражением поведала нам, как исходила злобой и негодованием на то, что у такой недостойной женщины, какой, «безусловно», является жена брата её мужа, родился такой замечательный ребёнок, насколько это несправедливо, и что Бог непременно ещё накажет её. И вот вся злоба глупой женщины воплотилась в абсолютно непорочном, чистом, её собственном малыше. С той поры я уже не сомневался, что Серёжа не просто больной от рождения человек – он бесноватый, причём безвинно бесноватый, получивший свой недуг в наследство от собственной матери. И кому эта ситуация, без сомнения промыслительная, должна была послужить уроком? Безвинному безумному Серёже? Его несчастной матери, которая так и не смогла сопоставить, соединить воедино как причину и следствие два этих звена? Может быть нам с Нюрой? Я стал откровенно бояться оставлять Нюру наедине с ними, а обстоятельства как назло складывались именно так, что мне всё чаще и чаще приходилось это делать. И снова провидение не оставило нас, ситуация разрешилась сама собой. Подружки и соседки той женщины, видя постоянно как Нюра носится с Серёжей и его мамой, как таскает им полные сумки всяких вкусностей да разностей, заподозрили неладное, а то и просто позавидовали. Они напели, а в конце концов абсолютно убедили глупую женщину в нашей чёрной корысти. Будто Нюра так старается, чтобы влезть в доверие, хитростью и коварством склонить хозяйку переписать на неё квартиру и сжить старую больную женщину со свету. Я же – «новый русский» – только того и жду чтобы, «используя свои связи», оформить сделку надлежащим образом, а потом избавиться и от Серёжи, как от лишней обузы. Женщина настолько поверила этой байке, что тут же высказала всё Нюре.

Аскольд замолчал, погрузившись в атмосферу воспоминаний, как будто это было только вчера. Целая череда противоречивых чувств и мыслей роились сейчас в его душе, не в силах ни примириться друг с другом, ни одолеть друг друга.

– И что? – нетерпеливо спросил Пётр Андреевич, желая, наконец, узнать, чем закончилась вся эта история.

– А ничего, – спокойно, как очевидную истину заключил Богатов. – Ушли тихо и неожиданно, как и появились когда-то, – он снова задумался, уткнувшись неподвижным взором в невидимую точку. – Нюру только жалко, она так привязалась к Серёже, много плакала потом не то от сожаления по нём, не то от обиды.

Оба молчали какое-то время: один, переваривая только что услышанный рассказ, другой, продолжая его в своём сердце.

– Нюра... Какое редкое имя, – прервал паузу Пётр Андреевич. – Это жену твою так зовут?

– Да, – ответил Аскольд, но тут же поправился, – на самом деле её имя Нури, Нюра только русифицированный аналог.

– Нури?! – изумился Берзин. – Ещё более редкое, ... я о таком даже не слыхивал.

– Это татарское имя. Нурсина, что в переводе означает светлая, лучезарная душа. Сокращённо Нури.

– По твоему рассказу у неё действительно светлая душа. Имя точно подобрано. Прямо святая.

– Нет. Далеко не святая. Есть и у неё свои тараканы, – возразил, было, Аскольд, но подумав немного, добавил. – Только из нас двоих она, безусловно, ближе к Богу.

– Ну, об этом, я так думаю, кроме самого Бога никто не знает...

– Я знаю, – тихо, но твёрдо заключил Богатов.

– Аскольд Алексеевич, друг мой, а вам не кажется, что вы как-то походя, невзначай равняете себя с Богом? – с хитрым прищуром заявил Берзин. – За время нашего разговора вы уже дважды произнесли это ваше «ЗНАЮ!». Причём окончательно, безапелляционно, как истину в последней инстанции. Уж не гордыня ли это? Самомнение во всяком случае.

Аскольд задумался. Видно было, что собеседник поймал его на чём-то таком, что и раньше другие люди замечали в нём, не раз высказывали прямо в глаза, а ещё чаще за глаза. Что он и сам знал в себе, пытался скрыть, побороть как навязчивую заразу, но что, тем не менее, продолжало жить в нём и проявлялось недвусмысленно в минуты запальчивости. От этого ему стало неловко и стыдно, как когда-то перед мамой, нечаянно заставшей его за юношеской мастурбацией. Он откинулся на спинку дивана, как бы отстраняясь, прячась от придирчивого взгляда попутчика в тень купе. Но то ли тень эта оказалась более чем условной в столь ясный солнечный день, то ли простое осознание, что от себя всё равно не спрячешься, свело на нет все попытки скрыться. Только Аскольд вновь поднял глаза на Берзина и, не увидав в его взгляде ни осуждения, ни насмешки, опять опустил их, возвращаясь к предмету разговора.

– Да. Вы правы, Пётр Андреевич, – произнёс он уже доверительно, как другу, – я и сам замечал это за собой. Простите.

Богатов снова погрузился в размышления, как бы оценивая, взвешивая на беспристрастных весах совести свои мысли и слова. Для него было сейчас крайне важно высказаться этому почти незнакомому человеку, и главное – быть понятым. Почему? Отчего вдруг в совершенно случайном попутчике он увидел не просто доверительного собеседника, не просто глаза и уши, способные вместить и понять? Но он нашёл в нём какой-то тайный, мистический образ, некое подобие рукописи, в которую легко и без стеснения можно излить всё накопившееся и рвущееся наружу, которая всё стерпит и всё понесёт. И вместе с тем, которая одна только может прозрачно дать тысячи, миллионы жадных глаз и ушей, способных и вместить, и понять, и рассудить себя с собой.

– Но знаете что... – Аскольд вдруг встрепенулся, воодушевился, снова подался вперёд к столику и сбивчиво, но довольно понятно продолжил прерванный рассказ. – ... Ведь в данном случае ... ну, когда я говорил, что знаю, ... знаю, кто из нас двоих ближе к Богу, ... я ведь имел в виду себя, ... что я дальше от Него, ... уж про себя-то я всё знаю, ... всё, ... это уж вы мне поверьте. Я слабый, падший человек без силы и воли. Вы ж вот сами давеча заметили, что четыре года в монастыре ни алкоголя, ни табака, а как вырвался на свободу, так снова во все тяжкие. Мне эта свобода горше тюрьмы, потому как нет у меня никакой способности противостоять своим страстям. А их у меня много, ой много, и все злущие, коварные как аспиды, только и ждут того, чтобы побольнее уязвить. И я поддаюсь почти без сопротивления ... почти, ... так что со стороны может показаться, что и вовсе без сопротивления, ... что с желанием и готовностью... Ах, как дорого мне это почти! ... Оно как соломинка, понимаете, ... как последняя надежда... Трус я, жалкий трус. ... Я и в монастырь-то вот подался как в лечебницу, чтобы там укрыться, когда надежда на соломинку совсем уж растаяла... А-ай...

Богатов беспомощно махнул рукой и вновь замкнулся. Но ненадолго. Желание высказаться, потребность излить свою исповедь на кого угодно, хоть на первого встречного сейчас составляло основу всей его сущности, определяло смысл его на данный момент. И слава Богу что именно сейчас небеса послали ему столь благодарного слушателя, может и не настолько заинтересованного, но во всяком случае, умеющего слушать и слышать. А это уже не мало.

– Продолжайте, Аскольд. Я с интересом и вниманием слежу за вашей повестью, – подержал рассказчика Пётр Андреевич.

Тот воодушевлённый поддержкой обратил ещё взгляд к иконе Первоверховных Апостолов и заговорил уже не сбивчиво, спокойно.

– Я не хочу показаться совсем уж безвольным человеком. Напротив, все мои знакомые всегда считали меня сильным, способным на многое и даже на великое. Я и сам так считаю, не сочтите за дерзость, иначе я не был бы писателем. Но в том-то весь фокус, что страсти всегда подстерегали и сопровождали меня в моменты наибольшей силы, они как пиявки прилеплялись и всасывались в меня именно тогда, когда я был полон решимости, вдохновения, могущества. Они казались такими мелкими и ничтожными с высоты моего полёта, что я их попросту пренебрежительно не замечал. А те постепенно и ненавязчиво приучали меня к себе, так что, в конце концов, приручили окончательно и сделали фактически своим рабом, послушным и беспрекословным. Когда я взбрыкивал, бунтовал и боролся с ними, они смиренно сдавались, лицемерно преувеличивая моё торжество и власть над собой, чтобы потом ещё сильнее и легче обуздать, оседлать меня, как только я расслаблюсь упоённый победой. Постепенно я стал оправдывать свою слабость, находя для неё убедительные обоснования и извинительные причины. Я даже здорово преуспел на этом поприще. Надо отдать должное человеку, за время своего существования это лучшее из того, что он научился делать. Страстям же, этим своим злейшим врагам я присвоил статус неизменных атрибутов успеха: курению – спутника мужественности, чревоугодию – достатка и вкуса, осуждению и жестокости придал значение справедливости, а предательство оправдал расчетом ради высшего блага. Но есть одна страсть, которая даст сто очков вперёд всем остальным, которая не просто довлеет надо мной, она уже часть меня неразрывная и неотъемлемая. С теми остальными я могу как-то с большим или меньшим успехом бороться, многие даже изжил совсем. А эта ... непобедима. Она настолько сжилась со мной, срослась со всем моим существом, с моей природой, что без неё я не знаю уже себя, лиши меня её – и я перестану быть вовсе. Поэтому я не могу бороться с этой страстью, а, живя с ней, неизбежно гублю и себя, и тех кто рядом, кто дорог мне. Вот таков тупик, в который я сам себя загнал и выхода из которого не вижу, ... не знаю.

Аскольд замолчал и выпил залпом коньяк, заранее приготовленный Берзиным. Выпил молча, не чокаясь, одним глотком, не закусывая и не морщась. Как воду. Пётр Андреевич ни о чём не спрашивал, ничего не комментировал, он молчал, терпеливо ожидая неизбежного продолжения исповеди.

– Эта страсть – женщины, – действительно продолжил Богатов. – Банально, правда? Как в плохом бульварном романе. А для меня это трагедия... Шекспир! Я бабник, Пётр Андреевич, элементарный бабник. Сколько себя помню, ещё с детства смотрел на девочек по-особенному, не как на подобных себе, но как на бесконечную неразгаданную тайну. Что влекло меня к ним, я тогда не сознавал, но влекло чрезвычайно. А когда осознал, то понимание это подарило мне такой океан чувств и эмоций, такую вселенную, что открытие её, исследование, проникновение в самые отдалённые и скрытые уголки стало для меня навязчивой идеей, целью жизни. Целью, конечно, внутренней, не подменяющей собой все учёбы, службы, работы, карьеру, ... но подчиняющей их себе. Я потому, наверное, и пришёл к искусству, что эта область человеческой деятельности наиболее близко касается предмета моего исследования, способна наиболее полно познать и раскрыть все его тайные тайны. У меня было много женщин, очень много. Первая ещё в школе, классе в шестом. Я трижды был женат и ни одной из своих жён не был верен до конца. Я даже в монастыре, на службе украдкой заглядывался на молоденьких прихожанок, медленно и артистично раздевал их взглядом, осторожно снимая одежду за одеждой, пока не оставлял совсем без всего... И любовался упоительно: «Ах, как прекрасно она смотрелась бы здесь голая во время молитвы – чистая, лучезарная, непорочная дева!»

Аскольд внезапно остановился, как останавливается лихой пловец, который, прожив много лет вдали от моря, окунается, наконец, в родную горько-солёную влагу и, соединившись с ней, вжившись всем телом в её могучую стихию, понимает вдруг, что заплыл слишком далеко.

– Вы осуждаете меня?

– Нет, – снисходительно ответил Пётр Андреевич. – Как я могу? Во-первых, я сам грешен. А во-вторых, вы так вкусно рассказываете, так жизненно, правдиво, как ... как будто про меня. Честное слово. Скажите, Аскольд Алексеевич, вы сейчас пишете что-нибудь?

– Нет, – ответил Богатов и смущённо улыбнулся, будто припомнил нечто такое, из литературы, но удивительно сродни данной ситуации. – Не пишется что-то.

Он снова раскрыл свой чемоданчик, покопался в нём и извлёк старый потрёпанный журнал. Аскольд подержал его в руках, внимательно посмотрел на обложку, перелистал бегло страницы, будто воскрешая в памяти события давно минувшие, из прошлой забытой жизни.

– Вот, – положил он журнал на столик перед Берзиным. – Последнее из опубликованного. Ещё до монастыря. Хороший рассказ, мне он очень нравится. «Потерянный рай»¹⁶ называется. Кстати, довольно близко к теме нашего разговора.

– О! Благодарю вас, Аскольд Алексеевич, – Пётр Андреевич надел очки, взял журнал и принялся искать нужный заголовок.

– К сожалению, не могу подарить, ... памятный экземпляр, ... простите, – смущаясь, пролепетал Богатов. – Но времени в пути ещё много, прочитать успеете, ... если интересно. Он короткий.

– Спасибо, – с некоторой досадой ответил коллекционер, – непременно прочту. Времени действительно предостаточно.

Он нашёл, наконец, нужную страницу, полюбовался и, как знаток живописи похвалил иллюстрации, затем закрыл журнал и отложил в сторону.

– А всё-таки, как вы попали в монастырь? – задал Пётр Андреевич интересующий его вопрос. – Какие причины подвигли вас? Ведь это ж не простое решение, должны быть веские, очень серьёзные основания для такого шага. Наверняка произошло что-то из ряда вон выходящее, что-то значительное, наверное, даже трагическое....

– Уби-или-и!!! Женщину уби-или-и!!!

¹⁶ «Потерянный рай» – рассказ Аякко Стамма, впервые опубликован в журнале «Чудеса и приключения» (N11/ноябрь, 2007г.). Вошёл также в сборник повестей и рассказов «Нецелованный странник» (Издательство SElena-Press, 2009г.)

Глава 5

Из вагонного коридора неожиданно и резко, взрывая вдребезги дорожную тишину и размеренность, раздался и прокатился от тамбура до тамбура пронзительный, истерический крик.

– Уби-или-и!!!

Страшная, разящая наповал своей реальностью догадка пронеслась в голове Аскольда и засела в сердце ноющей, невыносимой тревогой. Ничего толком не соображая, не владея, в сущности, ни поступками своими, ни самим сознанием, он сорвался как ужаленный с места и выскочил в коридор. Посреди длинного прохода, рядом с распахнутыми настежь дверьми одного из купе стояла толстая красномордая тётка в розовом спортивном трико и в бигуди и истошно вопила.

– Уби-или-и!!!

Из других дверей других вагонных клетушек уже выглядывали испуганные лица пассажиров, озирались по сторонам, определяя, как бы проявить посильное бездейственное участие, чтобы не уклониться от человечности, но и не вляпаться ненароком в прилипчивую, подстерегающую отовсюду неприятность. А от начала коридора, оттуда, где взгромоздился невозмутимо и важно огромный водонагревательный титан, бежала, спотыкаясь о складки непослушной ковровой дорожки, не на шутку встревоженная проводница. У неё-то выбора не было. В своём вагонном царстве она всегда и во всём должна быть первой... Но Аскольд у места происшествия оказался раньше.

Если б спросили его потом, как он очутился тут, какая неведомая сила оторвала его от нагретого дивана и перенесла через расстояние, не взирая, даже не задевая краешком крыла ни осмысленной логики, ни здравого рассудка? А главное, если бы поинтересовались, зачем он здесь, Богатов не смог бы ответить. Он просто был там, где не мог не быть в данную минуту, преисполненный напряжения, даже страха, но не оставленный надеждой. И эта его надежда оправдалась.

На полу, в узком промежутке между диванами, как-то неуютно и неестественно скумочкавшись, подобрав ноги и поджав под себя руки, лежало тело женщины. От её головы в стороны растекалась лужица свежей, ещё дымящейся крови. Тело было недвижимым и казалось бездыханным. Весь вид его в атмосфере ясного солнечного дня, весёлого, лирического пейзажа, проносящегося за окном, рисовался нереальным, неправдоподобным и оттого страшным, просто чудовищным недоразумением. Хотелось отвернуться, забыться, встрепенуться, ущипнув себя за мягкое место, очнуться и, открыв широко глаза, оказаться в иной, светлой реальности. Но главное, что примиряло и возвращало силы – это была совсем другая женщина, не та, которую так испугался увидеть здесь Аскольд.

– Уби-или-и!!! – будто из небытия донёсся сквозь плотную непроницаемую вату крик. Настиг, будто стремительно приближающаяся сирена пожарной машины, и оглушил, отрезвляя к жизни, возвращая реальность.

– Да замолчите вы! – строго прикрикнул на тётку Богатов. – Чего так истошно визжать?! Может, она ещё жива.

Тётка в бигуди замолчала, будто её разом лишили дара речи, а заодно и голоса. Аскольд зашёл в купе и присел над телом, пытаясь определить пульс. Он долго ощупывал запястье женщины, а губы при этом непрерывно что-то шептали. В коридоре вагона собралось уже много осмелевших людей, все толкали друг друга, пытаясь протиснуться поближе и рассмотреть, что же всё-таки произошло и происходит. Но сейчас все замерли в напряжённом ожидании не то страшного, не то чудесного. Глаза всех были устремлены на Аскольда, будто от него одного зависела теперь не только жизнь поверженной женщины, но и ещё нечто более важное, касающееся, может быть, каждого из них.

Среди прочих в толпе сверкнули два глаза, для которых всё происходящее определённо было важно и значительно, будто на этом моменте строилась сейчас как на фундаменте вся их дальнейшая жизнь. Если бы Богатов мог увидеть эти глаза, он бы прочитал в них нечаянно родившийся свет, ещё неосознанный, робкий, неожиданный для самого себя. Но он не мог их видеть, всецело погружённый в страшную, пугающую его самого дуэль со смертью.

– Она жива..., она дышит, – ещё не вполне уверенно, но с определённой надеждой говорил Аскольд, и в голосе его послышался вздох облегчения.

Женщина и правда, слава Богу, оказалась жива. И никто её не убивал, даже не пытался. Уже не молодая, преклонных лет, она неловко встала со своего дивана и, почувствовав сильное головокружение, на мгновение потеряла равновесие. Этого мгновения оказалось достаточно, а может быть, вагонная качка сыграла тут свою немаловажную роль, но в результате её слабые ноги подкосились, женщина упала, ударилась случайно головой о край столика и потеряла сознание на полу собственного купе. В таком незавидном положении нашла её попутчица, та самая, в розовом трико и в бигуди, которая вернулась из туалета и, обнаружив эту страшную картину, подняла крик. Людям вообще свойственно драматизировать события, а уж при виде живой реальной крови наиболее впечатлительные натуры способны попросту потерять рассудок. Вот она и потеряла, чем и вызвала всеобщий ажиотаж. Пострадавшей тут же оказали посильную медицинскую помощь – проводница принесла вагонную аптечку, промыла и перевязала рану, но поскольку женщина всё ещё была очень плоха, вызвала по дальней связи бригаду скорой помощи на ближайшую станцию. Люди постепенно разошлись, обсуждая на все лады происшествие,... не забывая упомянуть и свою роль в нём. Скорый поезд Воркута-Москва летел на всех парах по направлению к столице России, вагонная обстановка постепенно входила в своё привычное русло, жизнь налаживалась.

Аскольд стоял один в тамбуре вагона и нервно курил. Похоже, старая, забытая в монастырской тиши привычка возвращалась и вновь обретала безраздельную власть над слабым, податливым телом. Ругал ли он себя за эту слабость, или оправдывал своей неспособностью противостоять ей? Навряд ли. Он просто курил, не думая сейчас, вообще не оценивая свои действия и поступки, как человек способный на многое, может, даже на великое, но совершенно не приспособленный к малому, обыденному. Он был из тех людей, которых легко упрекнуть в бесчестии за данное, но не сдержанное слово, не ведая о том, сколько сил, старания, даже надрыва были отданы им на попытку исполнить обещанное. И это своё бесчестие он всегда носил с собой, как клеймо, как ярлык потерянности и оставленности всем миром, который он так любил. А мир за окном, похоже, не спешил возвращать ему свою любовь. Он был светлый, солнечный, тёплый и радостный,... но совершенно чужой. Он дарил всем свет и радость,... всем, но не ему. Для Аскольда мир проносился сейчас стремительно прочь за окном скорого поезда. И не было, казалось, силы, способной остановить этот бег, остановить и примирить странника с миром. Они улетали в разные стороны, уносились прочь друг от друга, как две равнозаряженные частицы.

– Она зовёт вас... – послышался сквозь раздумье голос почти возле самого уха.

– Что? – не сразу опомнился Аскольд и оглянулся на голос.

Рядом стояла та самая розовая тётка в бигуди и смотрела на Богатова умоляющими глазами.

– Она зовёт вас... Ей плохо, и она просит, чтобы вы пришли.

– Кто?

Аскольд никак не мог придти в себя, вернуться в будничную вагонную реальность и потому тупил не на шутку. А может, он действительно не понимал, кто его ждёт, кому он вдруг понадобился, или же догадался нечаянно, почти призрачно, но боялся поверить, обмануться в случайной догадке. Он вдруг отчётливо вспомнил лёгкое, почти невесомое ощущение на себе взгляда двух горячих глаз, двух сияющих угольков надежды, ищущих, испытующих

и так же как он боящихся обмануться. Когда это было? Где? Ах да, там, в купе той несчастной пожилой женщины, ... именно там он почувствовал эти глаза, эти две острые точки, сверлящие его затылок. Богатов поднял взгляд на розовую тётку и вдруг понял, что хочет от него эта женщина.

– Что с ней? Ей снова плохо? – пролепетал он, постепенно возвращаясь к реальности.

– Да. Она зовёт вас, ... просит, чтобы вы пришли...

– Я?! Зачем? Что я могу, ... чем я могу помочь?

– Не знаю, ... только она зовёт, ... просит... Вы же спасли её, ... может, ... ещё...?

– Я?! Спас?! – изумился Аскольд. – Да что вы? Я только пульс... А впрочем, пойдёмте.

Они подошли к купе. На белой простыне, на белой подушке, укрытая белым покрывалом лежала почти такая же белая как снег женщина. Она действительно была настолько слаба и плоха, что мнилось, вот-вот испустит дух. А может, уже...? Странно, но тогда, после падения она не показалась Аскольду такой уж пожилой и немощной. Теперь же перед ним лежала сморщенная, избитая жизнью старуха, а по мертвенной, без единой розовой прожилки бледности лица – практически труп. Богатов невольно остановился в дверях и замер, словно в столбняке. Он боялся ступить шаг вперёд, перешагнуть порог, войти в пространство, которое возможно уже облюбовала для себя смерть. Но тут женщина открыла большие, светлые, живые и полные жажды жизни глаза, обратила их на Аскольда, и этот взгляд вывел его из ступора. Он вошёл и присел на край дивана больной. Розовая тётка тоже вошла и устроилась напротив.

– Как вы себя чувствуете? – спросил Аскольд участливо и положил ладонь на руку женщины. – Я могу вам чем-то помочь?

– Помогите, батюшка, – тихо сказала женщина и улыбнулась спокойной умиротворённой улыбкой. – Помогите.

– Ну, вот видите, вы уже улыбаетесь. Скоро всё будет хорошо. Вам дали какие-нибудь лекарства? – Богатов поднял глаза и увидел на столе стакан воды и пачки каких-то таблеток. – Вы уже выпили?

– Выпила, но это всё не то, ... не о том..., – сказала она несколько торопливо, будто спешила куда-то и боялась опоздать.

– Как не то? – удивился Аскольд. – Вам дали не те лекарства?

Он потянулся к таблеткам, взял одну из упаковок, пытаясь прочесть странное, неизвестное название.

– Нет... Оставьте... Это не то... – снова повторила женщина и взяла руку Аскольда в свою, – не надо, ... мне не это надо, ... это всё пустяки...

Она перевела смущённый взгляд на розовую тётку, будто говоря ей одними глазами: «Извините меня ради Бога».

– Да, да, конечно, – с готовностью откликнулась та. – Я всё понимаю, всё понимаю. Ухожу, – встала и направилась к выходу.

Богатов ничего не понимал. Но решил не выяснять раньше времени, надеясь, что сейчас всё разрешится. Ведь не зря же его позвали. В этот момент он снова отчётливо почувствовал на себе взгляд двух горячих глаз. Тех самых... Аскольд тут же оглянулся, ... но было поздно – дверь в купе закрылась за Розовой с аккуратным тихим щелчком.

Они остались вдвоём. Один на один. Где-то в промежутке между жизнью и смертью.

– Так чем я могу вам помочь? – в надежде, что несчастной женщине ничего более не мешает, спросил Аскольд.

– Исповедуйте меня, батюшка, – решила, наконец, та после некоторого замешательства. – Это единственное, что мне сейчас действительно нужно.

– Как?! – от неожиданности Богатов даже поперхнулся воздухом. – В каком смысле?

– В смысле покаяния... Не откажите в последней просьбе... Я понимаю, что вы теперь не на службе, но всё же...

Женщина ещё смущённо улыбалась, а глаза выражали такую надежду и такую мольбу, что отказать ей было практически невозможно. Но и выполнение подобной просьбы оказалось для Аскольда более чем проблематичным.

– Так я... Я не могу, ... вы ошиблись, уверяю вас, – наконец-то он понял, зачем его звала и что хочет от него эта женщина. – Я не священник... Вас, наверное, ввёл в заблуждение мой внешний вид, но... Я не могу, не могу, нет у меня такой власти, понимаете?

– Не можете? ... Не священник? ... А что же мне теперь...? Как же...? – она не смогла договорить и заплакала. Очевидно, что это обстоятельство обескуражило её более, чем давешнее падение, и испугало сильнее предчувствия расставания с жизнью. – Мне не доехать уже до священника... Как же...?

– Да что вы запаниковали раньше времени? Скоро станция, проводница вызвала бригаду скорой помощи, вас отвезут в больницу, и никакого священника не понадобится, уверяю, – попытался успокоить её Аскольд, но сам чувствовал, что получается не очень убедительно. – Не смейте отчаиваться! Мы ещё на вашей золотой свадьбе гопака спляшем! – сказал он, наверное, более для того, чтобы ободрить и придать уверенности самому себе, но тут же понял, что слова эти не только прозвучали натянуто и как-то искусственно, но напротив, произвели совершенно обратное действие.

Больная заплакала ещё сильнее и отвернулась к стене. Богатов от всего сердца желал, но абсолютно не представлял, как утешить её, чем помочь, поддержать. Слова, всегда такие лёгкие, не замусоленные многократным обдумыванием-передумыванием, а главное точные, бьющие в самую цель, сейчас совершенно не шли на ум. Они рождались, роились разноцветными бабочками где-то в душе, но обременённые сомнением и неверием, никак не могли подняться выше. Аскольд злился сам на себя, на свою беспомощность, бесполезность, на всегдашнее «хочу, но не могу», но это нисколько не помогало ни женщине, ни ему самому. Да разве может злоба помочь кому-то?

– Успокойтесь, прошу вас, – сказал он, наконец. – Всё во власти Божьей, а чудо Его всегда рядом, того только и ожидает, чтобы в Него поверили и позвали.

Женщина перестала плакать, снова повернулась к Аскольду и хотя с влажными ещё глазами, но спокойным уверенным голосом заговорила.

– Я не знаю, кто вы, вижу вас сегодня впервые, но ... почему-то верю вам. Ведь вы спасли меня...

– Да что вы, я ... – попытался возразить Богатов, но тут же был остановлен.

– Не перебивайте меня... Пожалуйста, – тихо сказала больная и улыбнулась мягко, просительно. – Я боюсь не успеть к священнику, а мне очень, понимаете, очень нужно кому-то исповедать свой грех. Я выбрала вас. И давайте не будем спорить, у меня для этого нет ни времени, ни сил. Выслушайте меня хотя бы.

Аскольд решил не прекословить, надеясь на скорую станцию и ожидающую там медицинскую помощь. А пока с больной всё равно кто-то должен быть рядом, так уж случилось, что волею судьбы этим кто-то оказался он. Бог знает, может за рассказом женщине действительно станет легче. Он приготовился слушать.

– Я убила человека, – начала она. – Не буквально, не физически, не ножом или пистолетом, но неверием, обидой, злобой и проклятием. Это хуже, поверьте, гораздо хуже... Вы говорили о золотой свадьбе, а ведь она могла бы быть, пусть не буквально, пусть формально, но могла бы. А теперь её никогда уже не будет. Потому что невеста есть, а жениха ... больше нет.

Мы поженились совсем молоденькими, нам едва стукнуло по двадцать. Познакомились в сорок третьем, на фронте. Я тогда была юной, романтической, глупой девочкой. Только окончив школу, на следующий день после выпуска записалась на курсы радисток и, как только исполнилось восемнадцать, попросилась на фронт. Война тогда мне казалась приключением, редкой, уникальной возможностью проявить себя, состояться как личность. Кровь и смерть

были для меня в то время лишь испытанием, некой обязательной, неизбежной атрибутикой того спектакля, в котором я мыслила сыграть свою главную роль. Именно главную, ... но всё же роль – если бы не война, я бы, наверное, пошла в артистки. Дура я была, к тому же дура с инициативой.

Тогда мы обеспечивали связь с разведгруппами, которые регулярно отправлялись в тыл к немцам. Я вела один отряд, который мне казался самым успешным, самым героическим. И не потому что он неизменно возвращался с языком или с важными разведданными, но потому что это был мой отряд, а в моей роли, в моём спектакле всё должно было быть лучшее, даже декорации. Их командир мне представлялся высоким, стройным, сильным, мужественным героем, непременно черноволосым и красивым как бог, ... может, из-за его глубокого, бархатного баритона, которым я невольно заслушивалась во время сеансов связи. А позывной его – Сокол – только укреплял во мне эту картину.

Однажды, во время выполнения одного важного задания связь с ним неожиданно прервалась. Я больше суток разыскивала в эфире моего Сокола, не ела, не спала, вслушивалась во все шорохи, все звуки в наушниках, отчаянно надеясь поймать наконец-то заветное: «Берёза, я Сокол, я Сокол...». И мне уже не важна была ни война, ни победа, ни даже тот спектакль со мной в главной роли, ... только бы он был жив, только бы вернулся, только бы услышать его ещё раз... Но всё было тщетно. Сокол молчал.

На вторые сутки меня буквально оторвали от радиации и приказали идти отдыхать, пообещав непременно сообщить, если будут какие-нибудь известия. Может, от накопившейся усталости, может, от переживаний за моего героя, а скорее всего и от того, и другого вместе я как-то незаметно для себя забрела довольно далеко от расположения части и попала в лапы фрицам. Их разведотряды тоже шерстили нашу территорию, особенно охотились на радисток, так как через нас часто проходила стратегически важная информация. Вот я и вляпалась в языки. Всё произошло так быстро, что я не успела даже пикнуть, как оказалась связанной и с кляпом во рту. Вот тогда я реально поняла, что война это не спектакль, не шоу, не представление, и мне совсем расхотелось играть в ней главную роль героини. Мне стало страшно, я вдруг отчётливо осознала, что никакая я не личность, а обычная глупая девчонка и к тому же последняя трусиха. Мне никак не хотелось верить в реальность происходящего. Я и раньше знала, что подобное случается на войне, и даже часто. Но что со мной, с моим уникальным «я», которое ничего ещё в жизни не видело и не знает, перед которым открыто столько всего удивительного, заманчивого, волшебного... Хотелось проснуться, словно после кошмара, сбросить с себя ужасное наваждение и очутиться дома, в Москве, с мамой, за большим круглым столом с горячим чаем в тонких и лёгких фарфоровых чашечках, с конфетами в блестящих, приятно шуршащих фантиках, с раскрытым настежь окном, из которого неудержимо льётся яркий солнечный свет и весёлые, восторгающие душу звуки Первомая... Но не просыпалось, наваждение никуда не сбрасывалось. Меня тащили, как мешок с ненужным хламом, ничуть не смущаясь тем даже, что я всё-таки женщина. На войне нет женщин, и всякий, кто ввязался в эту мужскую игру, несёт на себе все её грубые, отнюдь не деликатные особенности. Но тогда мириться с этим совсем не хотелось. Я, помню, даже начала молиться Богу, в которого никогда не верила и всерьёз считала вымыслом, глупыми сказочками для тёмных, непросвещённых старушек. Но Бог всё же услышал меня.

Откуда ни возьмись, явился мой спаситель. Я ничего не успела сообразить, настолько быстро и профессионально он справился с тремя здоровенными фашистами, уложил их всех на землю, как игрушечных, а затем развязал и освободил меня. Как потом выяснилось, это был мой герой, мой Сокол. Он как раз возвращался с задания и случайно наткнулся на нас. Он был один, весь его отряд погиб, а рация была испорчена. Но Сокол оказался вовсе не тем статным черноволосым богатырём, каким я его себе представляла. А напротив – невысоким, щуплым, с жиденькими, пепельного цвета волосёнками на лопухой голове. Но зато весьма ловким

и жилистым, владеющим какими-то хитроумными приёмами какой-то экзотической борьбы. Я узнала его по голосу, по мягкому бархатному баритону, которым он заговорил со мной, как только освободил от пут. И даже хорошо, что этот ушастый Сокол оказался таким небольшим, потому что один из фрицев внезапно очнулся и серьёзно ранил моего избавителя, так что мне пришлось тащить его на себе вплоть до нашего расположения. Так мы и познакомились – сначала он спас меня, потом я его.

До самого конца войны мы служили вместе, рядом друг с другом, многое испытали, многое пережили. Смерть не раз подходила к нам близко-близко, но всегда какое-то чудо спасало нас, сберегало друг для друга. А может, это была наша любовь? Сразу после победы, как только вернулись в Москву, мы поженились и прожили вместе тридцать долгих, полных событиями лет. Трудно было. Очень трудно. Но всегда, во всех испытаниях мы поддерживали друг друга, помогали друг другу не только выжить, но и оставаться счастливыми.

А через тридцать лет он вдруг изменился, как-то отстранился от меня, стал задумчивым, каким-то чужим. Я не придавала этому особого значения, объясняя эти перемены неприятностями по службе. Их хватало, и они любого способны вывести из привычного состояния.

Но однажды я случайно обнаружила одно его письмо. Я не читаю чужих писем и это, поначалу, хотела отложить, но, ненароком задержавшись на нём, так и не смогла остановиться. Это было письмо к другой женщине, в котором он называл её любимой и своей девочкой. Я читала и постепенно наливалась негодованием, обидой, гневом на него. «Как он мог?! Как он мог поступить так со мной?! И это после всего того, что мы пережили, что прошли вместе! Да он просто предал меня! Предал! Предал! – думала я тогда и ещё более напивала сердце безумной яростью. – Он променял меня,... и на кого?! На пустую девчонку! На шлюшку! Кабацкую певичку с длинными ногами и смазливой мордочкой! Как он мог?! Как он мог?!» Я буквально не находила себе места, только того и ждала, чтобы он поскорее пришёл, чтобы всё объяснил, оправдался, покаялся наконец. «Я, конечно, прошу, если он всё объяснит, но уж и задам ему по первое число, устрою Варфоломеевскую ночь, будет знать, как такими словами разбрасываться направо и налево. Сукин сын! Кобель! Бабник! Ишь ты, седина в бороду – бес в ребро». Но он всё не приходил никак. Он часто подолгу задерживался на работе, но сейчас я была абсолютно уверена в том, где он и чем занимается. Я рисовала себе такие картины, выписывала такие пикантные подробности, что к ночи просто сошла с ума, обезумела до предела. А когда он всё-таки вернулся, у меня уже не оставалось никаких сил. Я швырнула ему в лицо это гадское, предательское письмо и выставила его за дверь. Он всю ночь просидел на лестнице, звонил неоднократно, но я не открыла. Утром он ушёл на работу.

Мы не развелись, но и не жили больше вместе. Я всё время ждала, верила, надеялась, как девчонка, что в один прекрасный день он придёт, всё объяснит, успокоит, наладит... Но всякий раз, когда он приходил, я не открывала двери, он звонил – я бросала трубку, он писал – я рвала не читая, он искал со мной встречи – я не давала ему раскрыть рта. Я сама себя загнала в угол и мучилась в поисках выхода оттуда. Меня просто убивало, приводило в неистовство то, что всё это время он жил с ней, у неё. Правду сказать, она оказалась хорошей, доброй, искренне любящей женщиной примерно одного с нами возраста, но для меня она неизменно оставалась пустой девчонкой, шлюшкой и кабацкой певичкой. Ах, если бы это оказалось действительно так, то было бы гораздо легче. Я бы знала тогда, понимала, чем она его купила. Такое нередко случается, когда взрослые мужчины увлекаются молоденькими эффектными девчонками, но проходит время, эйфория улетучивается, разница в возрасте, опыте, интеллекте всё более и более даёт о себе знать, и в конце концов статус-кво восстанавливается. Но то, что он предпочёл мне женщину одного со мной возраста, означало лишь одно – она реально лучше меня. С этим я никак не могла смириться. Так прошло ещё двадцать лет, как один день.

Приближался пятидесятилетний юбилей со дня нашей свадьбы. Наши дети, у нас выросли замечательные дети – дочка и сын, решили втайне от меня отметить эту дату. Они

заказали шикарный стол в ресторане, созвали всех наших друзей, разыскали даже затерянных с войны боевых товарищей, пригласили всех, кто был нам дорог, устроили всё самым наилучшим образом. Мне же сказали, что просто хотят по-семейному поужинать. На самом деле их целью было помирить нас, не восстановить семью (это было уже невозможно, ведь двадцать лет у их отца фактически была другая семья), но хотя бы уничтожить ту ужасающую пропасть между нами, дать нам возможность, наконец, поговорить друг с другом, понять и простить друг друга. Ведь прошло уже двадцать лет, всё давно должно было быльём порости, стереться и забыться. Но у меня ничего не поросло, ничего не стёрлось, не забылось. Как только я увидела богато накрытый стол, великое множество гостей, многих из которых даже не узнала, то сразу всё поняла. А когда дочка подвела ко мне отца, чистенького, ухоженного, нарядного, с огромным букетом белоснежных роз, словно сошедшего с праздничной открытки, меня вдруг взорвало и понесло лавиной на всё и вся. Я была в каком-то исступлении, не помню, что говорила, что делала, в голове лишь набатом тревожного колокола звенит по сей день: «БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТ! ПРОКЛИНАЮ! ПРОКЛИНАЮ! ПРОКЛИНАЮ!»...

В ту же ночь он умер от обширнейшего инфаркта. А я вот уже пять лет живу с этим и не могу освободиться, примириться ни с собой, ни с Богом. Я не хочу уходить так... Я боюсь... Отпусти меня с миром, батюшка.

Женщина замолчала. Молчал и Аскольд. В эту минуту он понимал, насколько трудно, тяжело, поистине невыносимо ответственно священнику жить и носить в себе таковой груз человеческих исповедей. Если бы не прощающий, не облегчающий людскую душу Господь, не Его всесильная, всемогущая Любовь, легко, как глотнуть воздуха, можно было бы сойти с ума. Но Богатов ведь не священник,... и как-то Всевышний распорядится с его душой, отягощённой этим покаянием?..

– Я не могу отпустить вам этот грех,... нет у меня таковой власти, – наконец заговорил он. – Но одно могу сказать точно: теперь, когда вы облегчили свою душу рассказом, когда ваше покаяние очевидно и для вас, и для меня,... а значит и для Бога... Потому что и для нас с вами сказал Господь: *«ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»*¹⁷... Теперь Бог не оставит вас, сохранит, доведёт до священника, до всамделишной, законной исповеди. Главное, не растерять вам покаянного чувства, сбереечь его в себе как величайший дар, очищающий человека, сближающий его с Богом. Верьте мне, теперь всё будет хорошо. Я это точно знаю.

В это время поезд подкатил, наконец, к долгожданной станции и остановился, натужно скрипя тормозами. В вагон зашли люди в белых халатах, осмотрели больную, аккуратно и бережно перенесли её из купе в припаркованную прямо на перроне машину с большим красным крестом и умчались исполнять свою великую, важную миссию по врачеванию человеческих тел. Врачевание же души осталось, как и прежде, целиком во власти Господа... И на благой, покаянной воле самого грешника.

Но нечто безусловно значительное, главное на тот момент в купе поезда всё-таки произошло – родилась, сформировалась и окрепла та самая покаянна воля, без которой ни успокоения в жизни, ни упокоения в смерти быть не может.

Аскольд стоял на платформе и курил, но уже не нервно, как давеча в тамбуре, а спокойно, даже умиротворённо. К нему подошёл Пётр Андреевич.

– Ну что, как она? – спросил он. – Надеюсь, всё обошлось? Жить будет?

– Обошлось... Будет... – ответил Богатов с надеждой. – Теперь всё будет хорошо.

– Вы так думаете, Аскольд Алексеевич?

– Знаю, – уверенно, как отрезал Богатов, и немного подумав, добавил. – Верую в это.

Берзин остался удовлетворённым таким ответом.

¹⁷ Евангелие от Матфея (18:20)

Глава 6

Поезд мчался дальше. Пассажиры, по привычке занятые собой, погрузились в свои неотложные дела. Кто-то аппетитно уплетал очередную ножку очередного цыплёнка, кто-то громко спал, перекрывая храпом стук колёс, кто-то жадно заглатывал строчки некоего новомодного писателя, будто специально натворившего тут для коротания вялотекущего дорожного времени. Кто-то ничего не делал, просто смотрел в окно, соизмеряя своё ничегонеделание с таким же, как ему казалось, апатичным действием на него со стороны окружающего мира. Каждый находил для себя ту гармонию, к которой приучила его временами требовательная, но чаще такая податливая жизнь. Люди зачастую весьма придирчивы к обстановке, ждут и даже взыскивают с неё всё более того, на что они, как им кажется, имеют право. Право неоспоримое, несомненное, априори присущее им от рождения, не требующее никакого обоснования и уж тем более благодарности. Ну в самом деле, кому, скажите на милость, придёт в голову благодарить кого-то за хорошее настроение, за нечаянную радость, за интерес и симпатию, ... за любовь, наконец? А ведь это дорогого стоит, гораздо ценнее, чем, скажем, прибавка к жалованию, новая машина, или властная, вершащая судьбы должность. Но за последнее мы готовы горбатиться полжизни, платить, не считая, здоровьем, силами, временем, ... совестью, часто шагая отточенным строевым шагом по головам, оставляя за спиной горы трупов иной раз отнюдь не в фигуральном смысле. А первое берём походя, как семечки из кармана, сплёвывая под ноги, будто шелуху, мелкие, незначительные усилия, в которые всегда облечено действительно ценное, настоящее. Жизнь проходит в делах и заботах и ими же умалется, сокращается до предела. Так что некогда порой руку подать или улыбнуться в ответ, а хоть и не в ответ, сказать слово и услышать в обратку такое же, которое так хочется услышать. Говорить мы все очень умеем, а вот слышать не получается как-то. Потому, наверное, что слышим друг от друга всегда то, что сами же и говорим.

Двое ехали дальше в купе скорого поезда, стремительно приближаясь к той точке, за которой судьбы их неминуемо должны разойтись в разные стороны, как это всегда бывает с дорожными знакомствами. Разойдутся ли? Или судьба на этот раз сделает исключение? Бог знает. А пока заведомая краткосрочность их взаимных симпатий создавала все условия для непринуждённого общения, для безопасной, даже безоглядной открытости, беспечной искренности. И они воспользовались ими вполне.

– А ведь вас тут чуть не за чудотворца почитают теперь, – Пётр Андреевич с усмешкой возобновил прерванный около двух часов назад разговор. – Ну, если не за чудотворца, то, по крайней мере, за экстрасенса.

– Меня? – всё ещё удивлялся Аскольд, хотя неподдельности в его изумлении поубавилось. Может быть, незаметно для него самого, но очевидно для опытного, хитроумного Берзина. – Да бросьте вы. Что я? Я ничего.

– Не скромничайте, Аскольд Алексеевич. Сам я не видел, врать не буду, но очень хорошо слышал, как все тут о вас только и говорили, пока вы больше часа находились там, возле пострадавшей. Просто целые былины слагали и передавали из уст в уста. О том, как вы налетели словно вихрь, затем смиренно и жертвенно, будто первый снег, опустились над бездыханным телом, возложили горячие руки на холодеющую плоть, произнесли тайное заклинание, и ... практически уже труп ожил, как четверодневный Лазарь... Не хочу скрывать от вас, но мне было весьма интересно слушать и даже, чёрт возьми, приятно.

Пётр Андреевич вполне искренне и правдиво передавал то, что вольно-невольно сам слышал от восторженных пассажиров. Но всё-таки лукавство в его глазах было, ... не могло не быть. Берзин действительно оказался хорошим физиономистом и даже психологом. Будучи от природы нрава скептического, он не особо верил во все эти доморощенные чудеса. Нельзя

утверждать, что был он абсолютным прагматиком и материалистом, Пётр Андреевич вполне допускал не только бытие Божие, но и Его промыслительное влияние на глобальные, мировые процессы. Но только лишь допускал, ... только где-нибудь там, за горизонтом, вдали от мирской суеты, о чём весьма интересно иной раз узнать по телевидению или из прессы как-нибудь в воскресенье, удобно расположившись на диване. Но чтобы вот так близко, прямо «в своём отечестве» повстречаться нечаянно с чудотворцем, да ещё которого пару часов тому назад угощал коньяком, ... и он таки соизволил откусать ... Так глубоко вера Берзина не распространялась. Зато лёгкая, едва уловимая искорка тщеславия, мелькнувшая вдруг в глазах Аскольда, не могла скрыться от острого, пронизательного взгляда и придирчивого ума коллекционера, тем более что искорка та не просто вспыхнула случайным, нечаянным огоньком, не погасла безвременно, но обещала разгореться жарким, бушующим пламенем. Пётр Андреевич не сдержался, и хотя по природе своей не был провокатором, но маслица на тлеющий уголёк таки подлил.

– Что ж, Аскольд Алексеевич, не сама же эта женщина очухалась? Тут не обошлось без чьего-то определённо сильного и действенного вмешательства.

– Не знаю, – начал сдаваться Богатов. – Может, вы и правы, – он как-то ещё колебался, ощупывая внутренним взглядом свою душу, пытаясь самостоятельно, без посторонней помощи сопоставить все «за» и «против», умом определиться перед так не вдруг вставшим выбором. А чуть только появляется выбор, и намечаются колебания, тут как тут выныривает, словно из коробочки, тот, кто есть причина колебаний и самого выбора. – Вы знаете, Пётр Андреевич, может, и есть во мне что-то такое. Я ведь даже учился когда-то ... и диплом имею.

– Какой диплом? Чему учился? – предчувствуя новый интересный рассказ, спросил заинтригованный Берзин. – А ну-ка давайте, давайте, поведайте, я весь внимание.

И польщённый Аскольд начал повествование с отдельными, не то чтобы определяющими, но всё же таки явными признаками тщеславия и самодовольства.

– Это было давно, ... тому лет десять назад. Мы с Нюрой ещё не были женаты, но встречались ... и даже жили вместе, когда она временами убегала от своего гражданского мужа ко мне. Мы не просто жили, как самые заурядные любовники, мы праздновали жизнь, раскрашивая её походами в театр, на выставки, участием в различных литературных богемных тусовках. Но самым незабываемым нашим увлечением стала одна безумная, совершенно бредовая идея.

В те времена гремела на всю Москву одна школа целительства и экстрасенсорики. Конечно, она не единственная такая была, их в то время полно расплодилось, как грибов после дождя. Вы наверняка помните тот период начала девяностых ... Но эта школа особенно отличалась от всех. Учёба в ней стоила каких-то безумных по тем временам денег, но поток желающих поступить и получить диковинные знания и умения не ослабевал, а напротив, рос и рос. Все хотели стать Кашпировскими¹⁸ и сделать карьеру на массовых сеансах. Школа даже выдавала диплом, по которому каждый выпускник именовался гордо и престижно «оператором биоэнергоинформационных воздействий». Меня лично целительская практика отнюдь не привлекала, но возможность получить неведомые оккультные знания, а более всего выделиться из серой массы и подняться над головами сограждан сверхновой сияющей звёздочкой очень даже притягивала. Я небезосновательно считал себя человеком способным и духовно богатым, поэтому решил, во что бы то ни стало попасть в эту школу. Деньги я достал на двоих (Нюра непременно решила учиться вместе со мной), и мы отправились на приёмный отбор. Надо сказать, что количество желающих в несколько раз превышало число мест в набираемой группе, поэтому был предусмотрен конкурс, который предстояло пройти. В чём он заключался, и что нужно будет делать, никто не знал, – это ещё больше интриговало и приводило в состояние тре-

¹⁸ Анатолий Михайлович Кашпи́ровский – советский психотерапевт, получивший известность в 1989 году благодаря телепередачам «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпи́ровского», транслировавшимся на канале Центрального Телевидения СССР.

пета. Все собрались в большом зале Дворца Молодёжи на Фрунзенской и ожидали с нескрываемой дрожью своей участи. Наконец, к нам вышла какая-то женщина и объявила, что сейчас появится сам Мастер и лично произведёт отбор. В чём заключается экзамен, она не объяснила, только попросила тех, кто будет отвергнут, не обижаться и не пытаться выяснить причины отказа. Напряжение от такого объявления ещё больше возросло, всё было окутано страшной тайной, волнение было настолько сильным, что некоторые не выдержали и, не дождавшись экзамена, удалились. Мы с Нюрой решили идти до конца. И вот появился Мастер.

Он неожиданно вышел из-за кулис, прошёл через всю сцену и сел в глубине её на одиноко стоявшем там стуле, которого до того момента никто не заметил. Возбуждённая толпа в зале перестала гудеть и только провожала его тысячеглазым взором. Повисла такая оглушающая тишина, что отчётливо было слышно поскрипывание половиц под ногами Мастера. Все смотрели на него, изучали, примеряли себя под него. Это был невысокого роста, хрупкого телосложения человек с тонкими, изящными чертами. Лёгкая бородка и болезненная бледность лица напомнили мне в нём князя Мышкина из «Идиота» Достоевского, а одинокий стул в глубине сцены и та властная решительность, с которой он прошествовал через сцену и сидел теперь словно на троне, – булгаковского Воланда. Человек этот вовсе не смотрел в зал, для того чтобы видеть, ему не нужны были глаза. Да и что они могут дать сознанию кроме поверхностного, абсолютно ошибочного взгляда на вещи, суть которых скрыта гораздо глубже, потаённое, чем может охватить весьма слабое, ограниченное человеческое зрение. Он настраивался на волну, соединяющую его с людской толпой, впитывал в себя её энергию, её воздух, как человек, сидящий на высоком скалистом берегу, вливается всем своим существом в стихию огромного, всегда такого разного, непредсказуемого океана. Наконец, он оторвал правую руку от колена, вяло и как бы нехотя приподнял её в воздух и опустил по-балетному медленно и грациозно. Это был сигнал к началу действия.

Аскольд приостановился на многозначительной паузе. Всё-таки он был артист, и для него оказалось существенно важно почувствовать затаённое дыхание вжившегося невольно в действие пьесы, переполненного зала. Пусть даже зал этот переполнялся всего одним единственным зрителем. А зритель молчал. Заворожённый, он никак не мог решить: то ли ему разразиться громом оваций, то ли затаиться ещё тише, совсем почти исчезнуть в страстном ожидании продолжения спектакля. Пауза удалась обоим.

– Тест на пригодность оказался совсем простым, и вместе с тем загадочным, необъяснимым, неподвластным человеческой логике... И оттого восхитительным, возвышающим до небес тех, кто прошёл его, и страшно обидным, низвергающим в глубокую пропасть унижения отвергнутых. Каждый соискатель строго по одному поднимался на сцену, проходил всю её огромность будто в последний раз, словно зелёную милю¹⁹, и останавливался перед Мастером, как перед Великим Магистром, как перед всесильным судьёй, видя в нём одновременно и благодетеля, и палача. Тот, не глядя на него, задумывался на мгновение и выносил бесстрастно свой вердикт, краткий и окончательный, словно удар молнии: «ДА» – и это означало «принят»; или «НЕТ» – «отвергнут». Одобренные счастливицы, как дети, вприпрыжку бежали за кулисы расставаться с деньгами, а убитые горем отверженные, понуриив головы, плелись прочь из зала. Это событие означало не просто принятие или непринятие в очередную группу очередной школы, это была своего рода аттестация, но не умений и навыков, а самой природы человека, его сути, ставящая на одних печать избранности, принадлежности к чему-то

¹⁹ «Зелёная миля» (англ. The Green Mile) (1996) – роман Стивена Кинга. В 1999 году по роману был снят одноимённый фильм. История рассказывается от лица Пола Эджкомба – бывшего надзирателя федеральной тюрьмы штата Луизиана «Холодная гора». Пол – старший надзиратель тюремного блока «Е», в котором содержатся приговорённые к смертной казни на электрическом стуле. В тюрьме этот блок, застеленный светло-зелёным линолеумом, называют «Зелёная миля», по аналогии с «Последней милей», которую приговорённый проходит в последний раз.

высшему, на других – несмываемое клеймо никчемной обычности, бросовости. И конечно же, каждый мечтал получить на свой лоб именно печать, за которую не жалко было никаких денег.

Нури из нас двоих пошла первой. Я не сомневался, что при всех моих талантах непременно пройду. А в ней не был уверен – она же была самая обыкновенная, ... не то, что я. Мне было жалко её, ... жалко до слёз, ... больно даже представить, вообразить, что она будет чувствовать себя рядом со мной какой-то ущербной, ... неполноценной что ли. Поэтому я специально подтолкнул её вперёд – пускай хоть немного подольше для неё мы будем друг другу вровень. Но к моему удивлению и радости, искренней радости, уверяю вас, Мастер неожиданно для меня сказал ей, почти не задумываясь: «ДА». Нури вся светилась счастьем и хлопала в ладошки, что тот ребёнок, которому дали, наконец, давно обещанную «наку». Я разделял её восторг, ... конечно же, радуясь за саму Ньюру, а во-вторых, за то, что мы и здесь будем вместе.

Подошла моя очередь. Я встал перед Великим Магистром спокойный и уверенный в себе. Он думал долго. Как мне показалось, очень долго. Что-то никак не мог поймать, решить, состыковать в своей прозорливой голове. В одно крохотное мгновение мне даже почудилось некоторое усилие, выраженное на его спокойном бесстрастном лице мимолётной скорбной гримасой. Будто он выпрашивал меня себе у кого-то Всесильного. Наконец, он как-то слегка обмяк, впервые за всё время оторвал от пола взгляд, поднял на меня почти бесцветные усталые глаза и выпалил на выдохе: «Нет». Я был убит, раздавлен, опустошён и выкинут на обочину старой ненужной ветошью. Это был такой удар по моему самолюбию, какого я не испытывал никогда в жизни. Это была катастрофа. Ведь я только что был полон решимости «подтянуть» до себя Ньюру. У меня не было никаких сомнений в том, что она слышала все мои мысли, мои невысказанные беспокойства за неё всего минуту назад. Если бы мне тогда удалось провалиться сквозь землю, то я с удовлетворением считал бы инцидент исчерпанным. Мне было реально хреново.

Но я не сломался. Через три месяца объявили новый набор, и я опять пошёл. И снова убийственное «НЕТ». Я рвался, как несовершеннолетний юноша на фронт летом сорок первого, как Павка Корчагин на узкоколейку, я летел в атаку, оголтело крича во всю глотку «УРА!!!», ... но вновь был отброшен глубокоэшелонированной обороной противника. Для меня взятие этой вершины стало делом чести, делом всей моей жизни, безумной, навязчивой идеей. Уже не сама школа, не её тайные знания, не престижный диплом влекли меня, но неистребимая потребность доказать всем и самому себе в первую очередь, что я достоин, я способен, я должен...

– Вот интересно, о чём они думают, когда дают такую рекламу? – перебил Пётр Андреевич как всегда непринуждённо, будто имел на то своё неоспоримое право. – Они вообще о чём-то думают?

– Что? – не понял Аскольд.

– Да вот тут рекламный баннер сейчас проезжали – яркая, сексапильная девица с двумя пиццами по одной в каждой руке. Но пицц этих не видно даже, всё внимание приковывают к себе большие аппетитные сиськи под более чем откровенным декольте. И слоган под всем этим соответствующий: «Берёшь две Маргариты, третью получишь бесплатно!» Ну, скажите на милость, Аскольд Алексеевич, обязан ли я знать, что Маргарита – это название пиццы?

Богатов молчал. Он плохо понимал, о чём сейчас говорил Берзин, его даже особо не обидело внезапное прерывание рассказа, Аскольда занимала теперь совсем другая, новая мысль, посетившая и овладевшая сознанием несостоявшегося монаха только что.

– Но я перебил вас, прошу простить меня, – извинился Пётр Андреевич. – Ну, никак не мог оставить без внимания такое вопиющее проявление человеческой тупости. Хотя, может быть, именно на это и рассчитано. Впрочем, прошу ещё раз прощения и с интересом жду продолжения этой истории. Ведь у неё же есть продолжение?

Аскольд молчал ещё несколько секунд. В нём отнюдь не было обиды, эта сварливая дама хоть и посещала его часто по поводу и без повода, но не задерживалась подолгу, не находя

общего языка с его чистым, открытым сердцем. Он поднял глаза на Берзина и подумал: «Что же это за человек такой? Легко обижает, легко извиняется... Что это, легкомыслие или лёгкость нрава?» Но встретив в ответ на не заданный вслух вопрос открытую, искреннюю улыбку, вслух сказал.

– А знаете, Пётр Андреевич, ведь это Господь меня удерживал тогда от падения в пропасть, это Он, рассчитывая на моё благоразумие, мешал, не позволял Мастеру сказать однозначно «ДА». Но Бог, даровав однажды человеку свободную волю, никогда не препятствует проявлению силы Своего дара. А если безумный упорствует в своеволии, Творец оставляет его одиноким и почти беззащитным на выбранном пути. Всё зло на земле человек творит сам и в первую очередь себе. Сотворил своё и я. На третьей попытке Мастер сказал мне, наконец: «ДА».

Богатов остановился. Готовый уже рассказ, несколько лет хранящийся в памяти и начатый свободно, без каких бы то ни было усилий, вдруг пресёкся. И хотя лежащие в его основе события, а значит и слова, необходимые для их описания, оставались неизменными, новый взгляд на них требовал переосмысления. Часто слово, как таковое, теряет свою силу. Оставаясь основным – если не единственным – индикатором души и сознания, оно внезапно перестаёт отражать не только внутреннее состояние человека, но и саму мысль, выраженную с его помощью. Нередко люди, общаясь через Интернет, не видя и не слыша друг друга, но всецело доверяясь одному лишь голому слову, с ужасом замечают, насколько они далеки от понимания собеседника, будто говорят на разных языках. Тогда интонация, эта душа слова, дающая ему и жизнь, и обаяние, и силу, определяет недвусмысленно превосходство своё над буквой, как душа человеческая над бранным телом. Сколько раз мы замечали, что, изменив своё отношение к предмету, преподносим его в совершенно другом – отличном от первоначального – значении и даже виде, хотя и описываем его теми же самыми словами. Вот и Аскольд задумался, так как то о чём он сейчас рассказывал, приобрело для него вдруг совершенно иную окраску. Ему теперь было стыдно за то, чем ещё пять минут назад он готов был гордиться. Какое-то отторжение и даже ужас отразился в его взгляде, ещё недавно таком живом и деятельном, а ныне потухшем, будто окаменелом.

– Мы всерьёз увлеклись новым поприщем, и вскоре жизнь наша изменилась, – Богатов, наконец, нашёл в себе силы продолжить повествование, будто проглотив мешающий ему комочек в горле. – В то время я снимал квартиру в одном из живописных районов Москвы специально для устройства маленького уютного гнёздышка для нас с Нюрой. Нам было хорошо и счастливо в нём – отсутствие мебели (там находилось только самое необходимое для жизни) скрашивали мои картины, развешанные по стенам, а неухоженность, необжитость помещения, которое, похоже, никому до нас не служило ещё домом, компенсировалась некоей романтикой, напоминающей нам «рай в шалаше».

Но однажды в нашем гнёздышке поселился третий.

Это был не человек, не зверь, но некая живая сущность. Явившись однажды мне в сневидении, вскоре он стал ощущаться и наяву. Он сам представился посланцем иного мира, не похожего на наш, но более совершенного, высшего, вмещающего в себя нашу крохотную вселенную и творящего её непрерывно. В основном косвенно, но часто и напрямую посредством таких вот контактов с избранными людьми нашего порядка. Я – один из таких немногих избранных, а он прикреплён ко мне для руководства и назидания. Назвал он себя Йорик и выглядел очень странно для человеческого понимания, что впрочем, вовсе не удивительно. Его внешний вид напоминал не живое существо, а скорее условное, упрощённое обозначение чего-то или кого-то очень сложного, весьма вероятно даже невозможного для восприятия. Человечество издревле, со дня своего сотворения знает и поклоняется силам, названным им сверхъестественными, не поддающимися никакому осмыслению и пониманию – такими как

Бог и Его небесные Иерархии²⁰, а также дьявол и его бесы. И для лучшего их осмысления оно, конечно же, прибегло к условности, придав первым облик сверхчеловеческий, вторым – человекоподобный. Но Йорик выглядел совершенно иначе, как-то утрированно, пиктографически, что выделяло его из привычной условности, а значит, ставило отдельно, вне моих представлений о живом, пусть даже сверхъестественном. Уж если бы мне нужно было сотворить его силой своей фантазии, я бы создал совершенно иной облик... Однозначно... Это обстоятельство убеждало и, в конце концов, убедило меня в том, что мой новый друг и покровитель отнюдь не является плодом моего воображения. Ещё одно обстоятельство сыграло в его пользу – Йорик был светлый, от него исходило постоянное, немеркнувшее лучезарное сияние. А по твёрдо усвоенным мною живописным канонам, светлое никак не может быть злым. Всё это примирило меня с моим гостем, а впоследствии почти что подчинило ему. Одно только... не то чтобы настораживало, даже не порождало сомнения, ... но на каком-то подсознательном, инстинктивном уровне... не позволяло расслабиться и предаться ему вполне. Это что-то я даже не осознавал, не улавливал умом, не мог объяснить себе, но чувствовал и злился на свою неблагоприятную мнительность. Только много позже я понял причину этого состояния – сияние, исходящее от Йорика, было каким-то неестественным, холодным, как свечение неоновой лампы или, что ещё точнее, светодиода. Казалось, оно не освещает окружающие предметы, а как будто нарисованное, голографическое... Но это потом, а тогда я не осознавал этого.

Нюра весьма настороженно отнеслась к появлению третьего. Она не видела его, ей он не показывался, но по моим словам имела о нём довольно точное представление. Поначалу Нюра вообще не восприняла всё это всерьёз, сочла за шутку, за проявление моей слишком буйной фантазии. Но со временем поняла, что я не шучу, ничего не придумываю, не разыгрываю спектакль с таинственным незнакомцем в главной роли. А поняв, убедившись вполне в моей искренности, пришла в ужас. Да и как тут было не ужаснуться, когда живёшь рядом не то со святым, которому является ангел Божий, не то с бесноватым безумцем? Второе вероятнее всего, так как по образу жизни на святого я не тянул абсолютно. Нури не скандалила, не ставила мне ультиматумы «либо я, либо он», даже не советовала обратиться к психиатру, но как-то насторожилась, всё чаще я стал ловить на себе её полные сожаления и беспокойства взгляды. Я же не обращал на это внимания, мне было комфортно с Йориком, а главное, рядом с ним я ощущал себя избранным, сверхчеловеком, способным и призванным изменить мир. Ситуация развивалась, всё глубже и глубже загоняя меня в тупик, в ловушку. Объяснение с Нюрой назревало и, в конце концов, состоялось.

Она без истерик и требований осторожно рассказала мне всё, что думает по этому поводу, поделилась своими опасениями и страхами. Я же только рассмеялся в ответ, а затем воодушевлённо с пиететом поведал о том, какой Йорик хороший и важный для меня наставник. Как он помогает мне, мудро и в высшей степени прозорливо руководит всеми моими действиями, к какой великой цели готовит меня. И что вскоре настанет тот знаменательный час, когда, поднявшись вместе со мной на вершину Олимпа, она будет искренне стыдиться за эти сегодняшние слова. Нюра не вняла, но ещё больше насторожилась, обескураженная запущенностью болезни. Моё воодушевление тут же сменилось раздражением, я убеждал – она не поддавалась, я кричал – она только плакала, я призывал, декларировал – она умоляла. В конце концов, мы поссорились и спать разошлись в разные комнаты.

В ту же ночь состоялся разговор и с Йориком. Теперь он, впервые за всё время, заговорил о бесполезности, ненужности, даже вреде для меня продолжения отношений с Нюрой. Он

²⁰ «Слово Божие все небесные Существа для ясности обозначает девятью именами. Наш Божественный руководитель разделяет их на три тройственные степени. Находящиеся в первой степени всегда предстоит Богу теснее и без посредства прочих с Ним соединены: ... святейшие Престолы, ... Херувимы и Серафимы ...; вторая степень содержит в себе Власти, Господства и Силы; третья и последняя в небесной Иерархии содержит чин Ангелов, Архангелов и Начал». (Дионисий Ареопагит «О небесной Иерархии», глава VI, §2)

убедительно и твёрдо настаивал на необходимости расстаться с ней. Я же, напротив, просил его повременить, предоставить ей ещё шанс. Убеждал, что её скепсис не есть результат твердолобого неверия, но лишь недостаток опыта, неожиданность столь близкого контакта с великим и сверхъестественным. Что само по себе понятно и объяснимо, ведь даже Христа народ не принял и, несмотря на все очевидные чудеса, распял на кресте. Мне удалось-таки убедить Йорика, ... по крайней мере, так мне показалось. И тут началось.

Сначала всё было безобидно и даже в какой-то мере потешно. Стали бесследно исчезать её личные вещи – трусики, лифчики... колготки, совершенно новые, только что распечатанные, почему-то оказывались вдруг рваные в самых интересных местах. Как-то раз утром, когда мы собирались на работу, обнаружили пропажу одной Ньюриной туфельки, почему-то правой. Пришлось мне срочно бежать в магазин и покупать новую пару на замену. А однажды прямо среди ночи кто-то вытащил из-под неё подушку, которую мы потом так и не нашли. Все эти невинные шалости были странны, но вполне объяснимы. Я лично нисколько не сомневался, что это проделки самой Ньюры, которая таким образом, чисто по-женски, пыталась убедить меня в происках Йорика против неё. Я только посмеивался про себя и делал вид, что отношусь серьёзно к таким фокусам. Сам же пребывал в убеждении, что вскоре все вещи найдутся самым неожиданным образом в её сумке. Наконец, случилось то, что повергло нас обоих в состояние шока.

Однажды, когда я писал что-то за рабочим столом, то вдруг услышал страшный крик у себя за спиной. Это был не просто крик испуга или неожиданности... Творческую рабочую тишину, которую Ньюра неизменно соблюдала, взорвал вдребезги истошный, истерический вопль неподдельного ужаса, будто земля разверзлась у неё под ногами, и из чёрной пропасти потянулись вверх скользкие, мерзкие тела преисподних гадов. Такого крика я в жизни не слышал. Я вскочил со стула и обернулся. Посреди комнаты стояла бледная, как привидение, Ньюра, дрожала конвульсивно, будто под действием электротока, и орала, орала, орала непрерывно. Из глаз её потоком лились слёзы, волосы вздыбились словно наэлектризованные, пальцы судорожно скрючились и застыли намертво, будто сжимали невидимый шар. Это было ужасное зрелище, на неё страшно было смотреть. Я подскочил к ней, обнял за плечи и попытался выяснить, что произошло. Ньюра никак не могла прийти в себя и вымолвить хоть слово, только кричала и рыдала, рыдала и кричала, как сумасшедшая. Наконец, с огромным усилием ей удалось произнести нечленораздельно: «Ударил...! Ударил...! Больно...! Я боюсь...! Боюсь...! Больно...! Страшно...!». Она вцепилась в меня ручонками, как маленький ребёнок, и повторяла сквозь рыдания только одно: «Ударил...! Больно...! Страшно...! Не оставляй...!».

Через какое-то время мне удалось её немного успокоить и выяснить причину столь неожиданной и дикой истерики. Я обнял её крепко, гладил по голове и спине, как котёнка, и насколько мог спокойно, убедительно твердил будто гипнотизёр: «Всё хорошо.... Всё хорошо.... Всё хорошо....». А когда Ньюра уже почти совсем пришла в себя, перестала плакать и стенать, только всхлипывала время от времени, озирая пространство вокруг тревожным взглядом, я усадил её в кресло, прикурил и вложил в дрожащие ещё пальцы сигарету. «Как ты? Успокоилась?» – спросил я, всерьёз опасаясь за её психику. «Да. Всё нормально», – ответила она не вполне твёрдым голосом. Тогда я решился, наконец, принести из другой комнаты зеркало и поставить перед ней. В отражении она увидела заплаканное, утомлённое лицо перепуганной насмерть женщины, на левой щеке которой отчётливо выделялся иссиня-красный четырёхпалый отпечаток с глубокими кровоточащими следами когтей...

Аскольд замолчал. Теперь не только глаза, но и вся его фигура казалась застывшей, окаменелой. Перед Берзиным на мягком диване в купе скорого поезда сидела бледная, как сама смерть, мумия. И только маленькая, сверкающая на солнце слезинка выкатилась вдруг из неподвижного глаза, протекла неспешно по щеке и схоронилась в густой, окладистой бороде, осторожно утверждая, что человек напротив коллекционера скорее жив, чем мёртв.

– Что же этот Йорик только вам являлся? – решился прервать тяжёлую паузу и задать вопрос Пётр Андреевич. – Вы же с Нюрой, если я верно понял, вместе учились в этой ... м-м ... школе.

– Да, вместе, – не выходя из внешнего ступора, ответил Аскольд. – Она поступила ещё раз, уже в мой поток. Тут дело, знаете ли, не в школе, не в декорациях сцены, а в том, насколько искренне играют актёры, насколько им удаётся вжиться в роль. Для Нури это было просто увлекательным занятием, имеющим к тому же выход на практическое применение полученных знаний и навыков. Меня же перспектива целительства, я говорил уже вам, вовсе не привлекала. Мною руководили гордыня и тщеславие, стремление стать над всеми, а это, скажу я вам, совсем иные руководители.

– Вы не возражаете, Аскольд, я приоткрою окошко? – спросил разрешения Берзин, впрочем, уже поднявшись с дивана и опустив вниз фрамугу. – Припекает солнышко-то, душно стало.

В купе ворвался шальной порыв весёлого ветра, пролетел, обследовав всё маленькое замкнутое пространство, прошелестел над ушами пассажиров свою неутомимую песню и упорхнул прочь, уступая очередь следующему порыву.

Богатов тяжело и громко вздохнул. И со вздохом этим, с новой порцией свежего воздуха глотнул нечаянно вовсе не случайный поток новой жизни. Подержал в себе пару секунд, будто смакуя, определяя её на вкус, и выдохнул также громко и решительно старую, отжившую свой век. Глаза опять ожили, душа раскрылась встречному, стремительному завтра.

– Долго мы потом отмывались от этой липкой приставучей грязи, – заговорил он вновь. – Не один год. Вплоть до монастыря. Отмылись ли, нет ли, не знаю. Но чувствую, что сидит хитрый зверь где-то рядом, стучится, просится, только того и ждёт, чтобы вернуться с легионом гораздо более злющих. Как бы уберечься, не впустить опрометчиво?

– Я не понял, – поймал заковыристую догадку Пётр Андреевич, – так вы что, с Нюрой вместе в монастыре жили? Как же это так? Разве можно?

– Вместе, – Богатова улыбнула находчивая подозрительность Берзина. – Только не жили, а спасались. Но это уже другая история.

Глава 7

Человек – существо коллективное, иногда стадное. Он подвержен влиянию среды и даже способен подчинять личное общественному. Таким он стал сам, по собственной воле... Бог же при создании задумывал, по всей видимости, нечто другое. Как бы ни было человеку весело, попадая в ситуацию скорбную, он скорбит вместе со всеми, часто просто подыгрывая, только внешне демонстрируя горе, но, постепенно входя в роль, настраивается на нужную волну – и вот... готов уже плакать, а то и рыдать. Состояние всеобщего страха возбуждённой толпы вселяет в него панический ужас, даже если причина происходящего ему неизвестна. Массовое карнавальное веселье заставляет его прыгать и хохотать до колик, забыв о проблемах, которые всего несколько минут назад держали душу в отчаянии. А окружающий со всех сторон патристический порыв масс, громоподобное тысячеголосое «УРА!» даже природного труса толкают в атаку, заряжают безумным, неосмысленным героизмом, берущим города без тени ощущения опасности, будто бессмертного. Так ему легче и удобнее жить, не выбиваясь из социума, добровольно и даже с усердием подчиняясь его законам и правилам, сливаясь с ним в единое целое, словно бы малая капелька могучей морской волны, которая неизменно следует туда, куда влечёт её стихия.

Но в людском муравейнике попадают иной раз особи, свершено иначе реагирующие на окружающую действительность. Они не то чтобы вовсе равнодушны к происходящему вокруг них (оставаясь людьми, они тоже умеют плакать и смеяться), но находятся как бы над ситуацией, будучи не вполне участниками, а скорее сторонними наблюдателями общечеловеческого процесса. Их слёзы и смех не являются прямым следствием горя или радости, но остаются внешним признаком как бы отстранённого, тем не менее глубоко проникновенного переживания причин, порождающих людские катаклизмы, и следствий, прямо вытекающих из них. Они часто смеются невпопад или страдают невыносимо во время всеобщего ликования, всегда оставаясь непонятыми, даже осуждёнными придиричивой людской молвой. Их не любят, их сторонятся, их боятся, но вспоминают восторженно много лет спустя, гордясь неподдельно своей якобы тесной близостью с ними. Их мало, и это хорошо. Мир населённый всецело такими людьми оказался бы внешне пустым и грустным, жить в нём было бы скучно, ибо какой мудрец выдавит из себя хоть слово, пребывая в окружении всеобщей премудрости. Может поэтому судьба щедро разбавляет человеческое общество весёлыми чудаками. Без них невозможно представить себе ни один коллектив, ни одну компанию. Их бесхитростная непосредственность привносит яркий оранжевый штрих в серое полотно будней, рядом с наивной простотой таковых сочнее и красочнее проявляется чья-то навязчивая премудрая глупость. А настоящего и поистине полноценного романа без этих персонажей попросту не бывает.

Поезд подъезжал к большой станции крупного города районного масштаба. За окнами показались ровные улицы со стройными рядами многоэтажных домов. Разноцветные потоки автомобилей летели целеустремлённо по своим делам, по мере приближения к центру всё чаще сбиваясь в плотные пробки. Люди-пешеходы крохотными букашками сновали туда-сюда, определяя колорит и настроение суетливой городской жизни. После бескрайнего моря нескончаемого леса такая смена декораций заметно оживляла, возвращала ощущение причастности к кипучему, насыщенному всем чем угодно двадцать первому веку. Как-то внезапно, вдруг, будто из-под земли выросло здание вокзала, проплыло нехотя в сторону противоположную движению поезда и замерло верстовым столбом, отделяя пройденную часть пути от предстоящей. Пассажиры, утомлённые ничегонеделанием в ограниченном пространстве вагона, потянулись на перрон размять кости, а навстречу им потекли измученные ожиданием перемены обстановки те, кто только собирался стать пассажиром и занять вожделенный удел в вагонном царстве. Всё пришло в хаотичное, разнонаправленное движение. Только в окружении героев

настоящего повествования обстановка оставалась без изменения. По-прежнему друг напротив друга сидели два человека, которых непредсказуемый случай неизвестно пока зачем свёл вместе в одном купе Воркутинско-Московского скорого поезда. Один неподвижно, будто каменное изваяние, немигающим взором рассматривал невидимую точку перед собой, другой, откинувшись на спинку дивана, дремал или делал вид что дремлет. Оба молчали.

Вдруг дверь распахнулась настежь – и на пороге никем не званное, совсем неожиданное, но со своим неоспоримым правом быть здесь появилось новое лицо. Оно выглядело вроде бы обычно, даже непритязательно, хотя угадывалось в нём нечто неформальное, неоднозначное, обещающее как минимум смену обстановки. Лицом этим оказался невысокого роста молодой человек довольно субтильного телосложения, с аккуратно выстриженной платформой на голове и в огромных, сильно увеличивающих очках. Одет он был в чёрные, идеально отглаженные брюки и чёрную же рубашку поло с белоснежным воротничком. В правой руке он держал небольшой чемоданчик по типу тех, в которых обычно носят важные бумаги или книги, а в левой большую круглую коробку, крестообразно перевязанную бечёвкой. Новенький очень походил на протестантского пастора, а точнее, на проповедника из каких-нибудь Свидетелей Иеговы или Евангельских Христиан Баптистов. Казалось, что вот уже сейчас он откроет рот и закроет его в лучшем случае в Москве, ... это если повезёт, конечно. Именно так подумал о нём Пётр Андреевич и поспешил вновь притвориться спящим. Аскольд же ничего не подумал, даже не пошелохнулся, никак не отреагировав на вошедшего.

– Здравствуйте! Ангела-Хранителя вам в дорогу! – громко и основательно возвестил молодой человек.

«Ну вот, началось», – снова подумал Берзин и открыл глаза, так как продолжать притворяться спящим казалось уже невежливым, неучтивым.

– Котя! – продолжил вещать проповедник и широко улыбнулся во все зубы.

– Что? Какая котя? – переспросил Пётр Андреевич и насторожился.

– Я Котя... Зовут меня так, – пояснил тот. – Вообще-то Константин Величко, но мама и друзья величают меня просто Котя. Я привык. Поэтому и вы тоже можете называть меня так. Я только что сел на этой станции, еду с богомолья из Свято-Никольского²¹ монастыря. Решил пожертвовать отпуском во славу Божию. Теперь возвращаюсь домой, в Москву. Буду ехать вместе с вами. Здравствуйте!

Новый пассажир выпалил всё это на одном дыхании, словно школьник декламируя заученный наизусть отрывок на новогоднем утреннике. Он так и стоял в дверях, продолжая широко улыбаться, будто ожидая аплодисментов.

– Здравствуйте. Пётр Андреевич, – представился Берзин, чуть привстав. А про себя подумал: «Неужели пронесло? Вроде бы наш, православный».

– Аскольд. Здравствуйте, – не замедлил назваться и Богатов. Он уже вышел из состояния оцепенения и осматривал теперь нового попутчика цепким испытующим взглядом. – Да вы садитесь. Чего стоять-то? В ногах правды нет.

Котя вошёл в купе, поставил коробку на диван, закрыл за собой дверь, снова взял коробку в левую руку, огляделся, будто выбирая себе место, затем сел неподалёку от Берзина, положил чемоданчик на колени, а коробку на чемоданчик. В конце концов, сложил руки сверху и радостно заулыбался, демонстрируя этим своё полное и глубокое удовлетворение.

– Здравствуйте. Очень приятно, – закончил он представление.

В купе вновь мало-помалу восстановилась прерванная тишина. Наши герои опять приняли первоначальные позы, а Пётр Андреевич даже подумал: «Ну слава Богу, пронесло». Только Коте, видимо, не сиделось на месте, он оказался из тех деятельных и неутомимых натур, о которых справедливо говорят, что у них шило ... в месте весьма не пригодном для хране-

²¹ Свято-Никольский монастырь выдуман автором. Все совпадения носят случайный характер.

ния острых предметов. Он некоторое время беспокойно ёрзал, будто выискивая наиболее комфортное место на диване, несколько раз прокашлялся в кулачок и, наконец, выдал.

– А-а-а ... давайте чайку попьем, – предложил он неожиданно для всех. – Я вас тортиком угошу, у меня есть. Тортик, конечно, не совсем здоровая пища, от него холестерин бывает, ... опять же чревоугодная, неаскетическая, расслабляющая тело и умерщвляющая дух. Но сегодня ведь праздник, пост закончился, разговеемся, – уговаривал он не то себя, не то своих новых попутчиков. – К тому же тортик благословил и освятил сам Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, так что можете не опасаться.

Пётр Андреевич хотел было заметить, что он вовсе не опасается, что тортиков вообще не боится, хотя и не особо пристрастен к ним, ... к тому же не голоден, так как уже имел возможность слегка разговестись и отметить праздник ... Но не успел.

– Ой, да у вас и иконка праздничная есть! – увидел вдруг Котя образ Петра и Павла, что стоял у изголовья дивана Берзина. – Вот здорово! Разрешите, я посмотрю.

Не дождавшись ответа, он вскочил и потянулся к иконе. От этого порыва чемоданчик его сорвался с колен и громко плюхнулся об пол. Тортик, слава Богу, Котя удержал. Через секунду он стоял посреди купе с образком в правой, тортиком в левой руке и напряжённо размышлял, как поступить с чемоданчиком. Наконец он поставил коробку на диван, взял икону из правой руки в левую, нагнулся, поднял свободной рукой с полу свою поклажу, положил её на другой диван, вернул образ в десницу, взял левой тортик и замер. Что предпринять дальше, Котя пока не знал.

– Да вы поставьте ваш торт на стол, – посоветовал Аскольд. – Мы не съедим.

– Действительно, – сообразил Величко. – Чего это я?

И, определив на подобающее место коробку, он вытянул перед собой левую руку с иконой, а правой трижды размашисто перекрестился, кладя поясные поклоны.

– В Софрино покупали? – спросил он, обращаясь в пространство, и не отводя взгляда от образка, сел на чемоданчик, вскочил, отодвинул его в сторону, снова сел уже на свободное место.

– Почему в Софрино? – ответил не без гордости Берзин. – Это Аскольд Алексеевич мне подарил в связи с именинами. Он сам написал.

– Сам?! Ух ты! – Котя снова взглянул на икону, неожиданно резко вскочил, будто его ужалили, положил образ на коробку с тортиком и, почтённо склонившись перед Богатым, сложил ладошки одна в другую. – Благословите, батюшка.

– Я не священник, – извиняясь, отказал Аскольд, – я простой послушник ... И то бывший.

– Как не священник?! – изумился Котя. – А почему вы тогда иконы пишете? Вы имеете благословление от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси?

– Нет, не имею. В данном случае его благословление не требуется.

– Как это не требуется? Так нельзя! Обязательно нужно чтобы было благословление! Без благословления ни в коем случае нельзя!

– Знаете что, – убирая иконку от греха подальше, пришёл на помощь Аскольду Пётр Андреевич, – а давайте и правда чай пить? Что-то в горле пересохло. Вы как, Аскольд Алексеевич?

– Я с удовольствием, – поблагодарил тот Берзина взглядом, – тем более что сегодня мне этого так и не удалось сделать. А ведь праздник же.

– Да! – опомнился Величко. – Праздник же! Поздравляю вас с днём Ангела, Пётр ... как вас там? ... запомнил ...

– Андреевич, – напомнил Берзин и улыбнулся сочувственно, совсем без раздражения.

– Поздравляю вас с именинами, Пётр Андреевич. И вас, Аскольд, тоже поздравляю. Всех вам благ. А всё-таки ...

– Спасибо, Константин, – вовремя перебил Котю Богатов. – Режьте ваш торт, а я схожу к проводнику за чаем. Пётр Андреевич, у вас ножик есть?

– Есть, есть, у меня всё есть, – подтвердил Берзин, доставая нож. – Режьте, не испачкайтесь. А я с вашего разрешения пойду, ... руки помою.

Оба поспешно вышли, оставив Котю одного.

– Уф! Ну, послал Бог попутчика, – уже в коридоре пошутил один.

– Чувствую, то ли ещё будет, – поддержал его другой.

Когда спустя несколько минут, они вернулись с чаем, их взору предстала следующая картина. Картонная крышка коробки была аккуратно разорвана на две половинки. На каждой лежало по огромному куску торта, третий такой же кусок оставался в коробке.

– Вот, порезал на троих, – довольный собой возвестил Котя и осветил купе восторженной улыбкой.

– Да вы что, в самом деле, с ума сошли? – опешил Пётр Андреевич. – Я вам что, лошадь? Мне такой кусище в жизни не съесть. Для него ведро чая потребуется. Дайте-ка ножик, я отрежу себе, сколько осилю, а остальное уж вы сами как-нибудь.

– Что вы, что вы, Пётр ... э-э-э...

– Андреевич...

– Андреевич ... Так нельзя. Никак нельзя. Нужно всё съесть. Куда же я остальное дену?

– Куда хотите. Домой отвезёте.

– Как же я отвезу?! Коробка-то уже вон вся на тарелочки изорванная. В чём я повезу, в кармане что ли? Нет, как хотите, а съесть нужно.

– Да вы в своём уме?! – Берзин начинал раздражаться. – Мне что теперь давиться вашим тортиком?

– Ну уж как-нибудь.... Уж постарайтесь, – не унимался Котя. – Я вам ещё чая принесу.

– Нет! И не просите! Сколько смогу, съем. Вот кусочек отрежу себе, а остальное, не обесудьте ... хоть выкидывайте.

– Что вы?! Нельзя! Ни в коем случае нельзя! Он же освящён Святейшим Патриархом Владыкой Алексием II! Его невозможно выкинуть на поправление псам! Грех большой!

– Ну, тогда сами и ешьте, – поставил точку в прениях Берзин. – Я съем сколько смогу. Всё.

– Константин, – пришёл на помощь Аскольд, – В самом деле, такой кусище съесть невозможно. О чём вы думали, когда так щедро и так ... по-честному делили ваш торт? А коробку зачем порвали? У проводницы наверняка есть тарелочки. Я понимаю, что выкидывать освящённую пищу нельзя, но и съесть всё это тоже нереально.

– Что же делать? – Котя совсем осунулся и потерял улыбку. – Может всё-таки... как-нибудь...

Тут в открытое окно залетел громадный слепень и закружил по купе. Все трое насторожились, внимательно сопровождая взглядами насекомое, а Пётр Андреевич даже взял в руки полотенце и свернул его в жгут.

– Нет! Что вы хотите сделать?! – закричал Котя. – Это же живая душа, тварь Божья!

– И что вы предлагаете? – уже не скрывая раздражения, спросил Берзин. – До Москвы с ним ехать? Я не желаю быть ужаленным этой тварью ... Божьей.

Коварная муха полетала какое-то время, испытывая нервы и выдержку человека, наконец, опустилась на кусок Петра Андреевича, на самую богатую, самую красивую кремовую розочку.

– Кыш! Кыш отсюда! – тут же согнал слепня Котя.

– Зачем вы? Пусть бы поел немного, всё бы меньше мне осталось, – пошутил Берзин. – Теперь летать тут будет, жужжать.

– Как вы не понимаете? Тортик освящён Святейшим Патриархом, а эта гадина на говно садится.

- Неужели таки гадина? – перевёл в шутку Аскольд. – Вы про кого сейчас?
- Да про слепня этого, – не понял сарказма Котя. – Сейчас я его выпущу.

И он стал метаться по купе, размахивать руками, оттесняя опасную муху в сторону открытого окна. Но насекомое не думало оттесняться, оно оказалось проворнее человека и летало там, где ему вздумается, только ещё интенсивнее, даже агрессивнее. Аскольд и Пётр Андреевич не стали мешать Коте спасать тварь Божью. Да и возможно ли было ему помешать, когда такого действия требовало всё его естество, вся жизненная философия, вся его вера? Они сидели на своих диванах возле двери и с интересом наблюдали за безумством борьбы человека с природой. Борьбы непредсказуемой, опасной, в результате которой человек твёрдый, непоколебимый покоряет-таки матушку-природу, одерживает над ней верх, ... но при этом неизменно остаётся почему-то с носом. Для натуры деятельной, неутомимой разве имеют значения потери и вообще средства, когда все силы, вся воля, вся энергия целиком направлены на одно – на непременно достижение цели во что бы то ни стало. В воздухе буквально повисла тревога и висела теперь огромным, давящим жерновом, ... хотя и не очень тяжёлым, должно быть деревянным. Что-то вот-вот должно было произойти, что-то страшное, даже ужасное, но вместе с тем комичное, театрально-сатирическое.

Увлечённому, объётому духом борьбы Коте удалось-таки оттеснить, даже прижать соперника непосредственно к окну и заблокировать его всем своим постоянно движущимся телом в узком секторе, выход из которого явно оставался только один – на волю. Когда до последнего, решающего броска оставалось всего ничего, когда почти что поверженного, обессиленного врага ожидала неизбежная участь – свобода и спасение, неутомимый охотник за мухами сделал отчаянный, решающий всё скачок на соперника, но настолько неловко, что наткнулся на совершенно забытый им столик. Чтобы удержаться в равновесии он машинально опёрся обеими пятернями на так неудачно оставленный тут тортик, и не просто опёрся, но увяз в нём почти по локоть. А слепень присел на край фрамуги, отдышался малость, оглянулся на это странное, загадочное существо в торте и самостоятельно, без помех, не поблагодарив даже, вылетел на волю. Ему были чужды человеческие страсти и подвиги, он жил своей насекомой жизнью и искренне считал её самой правильной и самой полезной, самой продвинутой в мироздании.

- Ну, вот и попили чайку с тортиком, – со вздохом заметил Пётр Андреевич.

– Ну и Бог с ним. Не расстраивайтесь, Константин, – поспешил успокоить Котю Аскольд. – Вот вам полотенце, идите, вымойте руки, мыло там есть, а мы пока тут приберём поле битвы.

– Простите меня ради Христа, – сконфуженно пролепетал Величко и поплёлся в туалет умываться.

Но когда всего через три минуты он вернулся, лицо его снова сияло довольным, благостным выражением. Это было лицо победителя, пусть ценой некоторых потерь, но всё же отвоёвавшего у смерти хоть немножечко, пусть всего лишь одну условную единицу жизни.

– А всё-таки я его спас! – с достоинством произнёс Котя. – Вы бы его точно убили, а так он живёт и даст, может быть, жизнь другим тварям Божьим. Слава Богу, что я сел именно на этой станции.

- Вы молодец, Константин, спору нет. Подумайте теперь, что делать вот с этим.

И Аскольд протянул счастливому победителю полиэтиленовый пакет с останками тортика. Тот взял его в руки, заглянул внутрь и озадаченно сел на диван.

– Да что тут уже поделаешь, выкинуть придётся, – высказал мнение Пётр Андреевич. – Жаль, конечно – наверное, вкусный был торт. Но не есть же его теперь. Выглядит он, прямо скажем, не очень аппетитно.

Котя неподвижно сидел на диване, погружённый взглядом внутрь пакета, и напряжённо о чём-то думал.

– Выбросить не получится, – проговорил он сквозь раздумье.

– Почему не получится? – не сдавался Берзин, опасаясь видимо, что снова заставят есть. – Вон возле туалета бачок для мусора, прямо туда и кидайте, пакет мне возвращать не нужно.

– Да говорю же вам, нельзя, – чуть не плача, настаивал на своём Котя, – он же освящён Патриархом, это же святыня! Как же его на помойку?

– И что теперь? Молиться на него что ли? – с заметным раздражением спросил Пётр Андреевич. – Съесть нельзя, выбросить нельзя, а что можно? Делать-то что?

Котя как бы не замечал горячности попутчика, но всё также глядя в пакет, напряжённо думал. Вдруг его осенило.

– Знаю! – заявил он, медленно поднимая глаза к небу, будто ища у него поддержки. Затем, переведя взгляд на собеседников, тихо, с мистическим трепетом в голосе сообщил, – сжечь надо...

– Сжечь?! Что, прямо здесь?! – судя по ужасу в глазах Берзина, он несколько не засомневался в серьёзности намерений Коти.

– Нет, не здесь. В топке, – заговорщицки сообщил Величко. – Там в тамбуре топка есть. Я видел давеча.

– Подождите, Константин, – поспешил успокоить страсти Аскольд, – сейчас лето, не топят, а титан электрический.

– Тогда закопать, – не унимался Котя. – У вас лопата есть?

– Конечно! – не в силах больше сдерживать негодование провозгласил Пётр Андреевич. – Я всегда вожу с собой дюжину разнообразных лопат. Вам какую именно, молодой человек?

– Константин, а с чего вы взяли, что этот торт непременно освящён Патриархом? – Аскольд решил зайти к предмету обсуждения с другой стороны. – Вы сами видели? Он что, приезжал на праздник в Свято-Никольский монастырь?

– Там написано было, – ничуть не смутившись вопросом, сообщил Котя.

– Где? – хором спросили Берзин с Богатовым.

– В кондитерской, – совершенно отрешённо, будто вопрос этот не имел к делу никакого отношения, сказал Котя, но встретив недоумение в глазах собеседников, решил пояснить. – Возле обители есть кондитерская лавка. Там, прямо на прилавке написано, что весь товар освящён Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием Вторым. Вот я и решил купить тортик.

– И вы думаете...? – Берзин откинулся на спинку дивана и правой рукой отёр пот со лба. – Боже мой! Святая наивность.

– Послушайте, Константин, – как можно спокойнее и убедительнее заговорил Аскольд. – Ничего закапывать не надо. Нечем, да и негде – кругом асфальт. Лучше бросить где-нибудь в кусты, птички склюют.

– Точно! – сорвался с места Котя и выбежал из купе, но тут же вернулся. – Сколько ещё стоим?

– Всего стоянка сорок минут, – заметно успокаиваясь, сообщил Берзин, глядя на часы. – Мы уже здесь двадцать пять минут, так что четверть часа у вас есть.

– Успею... – только и сказал Котя и скрылся вместе с пакетом.

Пассажиры облегчённо вздохнули. Священная трапеза, как и ритуальное сжигание святыни больше не угрожали им.

Через десять минут в дверях купе появился толстый, взмокший на солнце милиционер и, представившись, предъявил попутчикам виновато улыбающегося Котю.

– Вам известен этот гражданин? – спросил он у пассажиров.

– Да. Это ... Котя, – подтвердил Аскольд настороженно. – А что случилось?

– Это его вещи? – указал милиционер на чемоданчик Величко.

– Его... – снова согласился Богатов. – А что собственно произошло, можете объяснить?

– Забирайте и следуйте за мной, – велел страж порядка арестованному Коте, но видя недоумённые взгляды пассажиров, всё-таки решил разъяснить. – Этот гражданин из хулиганских побуждений только что залез по пожарной лестнице на крышу здания вокзала... Может быть, и с террористической целью. Усекаете? Для выяснения личности, а также для расследования причин происшествия он задержан. Пройдёмте, гражданин.

– Константин, – обратился Аскольд к уходящему Коте. – Зачем вас понесло на крышу-то?

– Да вот птичкам хотел, – объяснил тот. – Под кустик нельзя. Негоже доверять святыню псам.

Поезд тронулся. Поплыл мимо вокзал, привокзальные постройки, перрон с ожидающими следующего рейса пассажирами. Богатов и Берзин снова остались одни в купе. Сквозь пыльное вагонное стекло они наблюдали, как по платформе идёт в сопровождении милиционера их неудавшийся попутчик, должно быть огорчённый случившимся, но со своим особым достоинством, преисполненный чувством священного, выполненного долга.

Глава 8

Не найдёшь – не узнаешь. Не потеряешь – не поймёшь. В купе поезда снова повисла тяжёлая, гнетущая тишина. Оба пассажира, не сговариваясь, не подозревая даже подобного друг о друге, думали сейчас об одном и том же. Как часто мы, идя по жизни семимильными шагами, уверенной, твёрдой поступью, преисполненные жизненным опытом, своими индивидуальными взглядами, убеждениями и даже философией, позволяем себе обустроить мир вокруг себя по образу и подобию нашему. Как часто мы при этом встречаем на своём пути незначительный, ничем не примечательный камушек, только тем и ценный, что именно он привлёк к себе наше внимание. И чем привлёк-то? Своей малостью, неказистостью, бесполезностью, порой даже уродливостью (уродство, как известно, обращает на себя внимание острее, нежели совершенство). Но будучи невписываемым в наш строгий жизненный уклад, а стало быть, уже осуждённый нами на безжалостную брошенность, ненужность, он так и остаётся лежать в пыли, а то и попросту отпихивается носком сапога прочь из нашего мира на обочину. И уже много времени спустя, служа кому-то другому украшением, а то и краеугольным основанием, он заставляет нас вспомнить, задуматься о той непростительной ошибке, исправить которую уже нельзя, невозможно. Не безумны ли мы, когда, поддаваясь власти первого впечатления, обрекаем себя на неизбежные потери? Чем оправдана такая беспечность, расточительность? Ведь должно же быть и ей место в незыблемой цепочке причинно-следственных связей, утверждающей, что всё имеет своё значение, свой смысл. Всё, даже самый никчемный камушек. Из таких вот камушков, разбросанных повсюду, мы и строим здание нашего опыта, любимся им, обживаем его заботливо, устанавливаем в колонном зале его свой престол, ... но только уж на смертном одре. А покуда жизни ещё впереди непочатый край, покуда чаша нашего бытия испита только наполовину, летим себе скорым поездом и наблюдаем сквозь пыльное вагонное стекло, как утекает прочь время, отпущенное нам с избытком, но растраченное нами без счёта, как вода сквозь пальцы. Что имеем – не храним, потеряем – плачем.

– Жаль парня. Сейчас ведь засудят ни за что, – первым прервал молчание Пётр Андреевич. – Он хоть и ненормальный, но по-своему забавный.

– Он добрый, – уточнил Аскольд. – Станный конечно, но кто из нас без странностей? Каждый по-своему безумен.

– Это да, – согласился Берзин, хотя на свой счёт безумие примерять не стал. – А как вы думаете, Аскольд Алексеевич, смог бы Котя сжечь свой торт прямо здесь, в вагоне?

– Да ну что вы, Пётр Андреевич, – даже слегка обиделся за Котю на такой вопрос Богатов, – он странный, это правда, но не идиот же, в самом деле.

– Не скажите, Аскольд, ой не скажите. Я тоже сначала принял его предложение сжечь за фигуру речи. Но когда увидел глаза Коти, услышал в его голосе решимость, даже убеждённость, понял – этот во имя своей идеи не остановится ни перед чем. Я даже перепугался не на шутку и скажу вам откровенно, растерялся – а ну, как и правда возьмёт, да и сожжёт. Что тогда делать?

– Вы думаете, стал бы? – со своей затаённой мыслью спросил Аскольд.

– Уверен, стал бы! – не заметил подвоха Берзин.

– А вы?

– Что я?

– Вы сожгли бы?

– Я?! – опешил от такого поворота Пётр Андреевич.

– Да, именно вы. Только не на Котином, а на своём, Петра Андреевича Берзина месте, – Аскольд говорил тихо и спокойно, будто речь шла о предмете весьма обыденном, будничном, не раз и не два, но регулярно проделываемом, не вызывающем никаких недоумений и даже

вопросов. – Вы сожгли бы, если бы того требовала ВАША жизненная философия, ВАША убеждённость и ВАША вера?

Берзин не знал что ответить. Несколько секунд он молча смотрел на Богатова, как бы пытаясь проникнуть в его замысел и понять, к чему тот клонит. Но, в конце концов, не выдержав чистого взгляда и мягкой, без тени лукавства улыбки Аскольда, отвернулся к окну.

– Мне кажется, Пётр Андреевич, – продолжал Аскольд совсем просто, без какого бы то ни было авторитетного превосходства профессора, вещающего неразумным студентам непреложные истины, – мне кажется, что каждый человек способен на многое, практически на всё, даже на самую гнусность. Вопрос лишь в том, какова цена этой гнусности для каждого отдельного человека. Ведь никто до определённой поры, не столкнувшись ещё с ситуацией, не может знать, на что он способен, на какие поступки или непоступки. У каждой твёрдости есть свой предел, и у каждой совести своя продажная стоимость. Одни готовы поступиться великим за малое, другие малым за великое, но никто не вправе утверждать о себе, что уж он-то никогда и ни за что. Всё дело в цене, и мало кто знает её действительное значение, только те, кому пришлось ей уступить.

В принципе физиологически и психологически все люди устроены одинаково, все мы из одного теста, из одного места. Каждый человек является производной, потомком двух первых людей, которые в свою очередь есть ОДНО. И вот этот первочеловек, будучи сотворённым «руками» Самого Бога, вложившего в него Свой Образ и Своё Подобие, был несоизмеримо лучше самого лучшего, самого совершенного из нас сегодняшних. Между ним и нами пропасть, он – Царь по природе своей, Царь во всех смыслах и значениях; мы же – рабы, добровольно принявшие рабство как способ не только выживания, но даже, как это не парадоксально, успеха. Так вот этот эталонный человек, этот образец, на которого нам равняться, равняться и никогда не сравниваться, даже он, не особо задумываясь, предал сотворившего его Бога. Вы скажете, не предал вовсе, а только лишь ослушался? Так в том-то и трагизм пропасти, что для нас сегодняшних, которые предают направо и налево, как семечки щёлкают, значение предательства сузилось до простого ослушания. В самом деле, ну подумаешь, съел яблоко! Что, у Бога яблок что ли мало?

Апостол Пётр всего лишь за час до ареста Христа клялся чистосердечно и искренне как ребёнок, что никогда и ни за что не отречётся от Учителя. И отрёкся трижды ещё до первых петухов. Пётр! Первоверховный Апостол! Насколько же я ниже Петра! Я с ужасом сегодня допускаю, что возможны такие обстоятельства, при которых и я предам. Весь вопрос, как я уже сказал, в условиях, в цене моей индивидуальной гнусности. У каждого она своя. Кому-то достаточно пальчик показать, чтобы он убил, другого необходимо довести до состояния неведения собой. Второй после совершённого будет, подобно тому же Петру, слёзно раскаиваться, а первый может даже прихвастнуть при случае, как ловко он замочил обидчика.

Берзин слушал внимательно и молча. Поначалу он смотрел в окно, будто демонстрируя этим, что слова Аскольда его мало трогают, что ничего нового, неизвестного ранее он не слышит в них. Всё настолько правильно, что даже банально, и не стоит углубляться в смысл сказанного. Но постепенно он волей-неволей втянулся в беседу, должно быть уловил чувствительным сознанием неординарного человека крохотную крупичку истины, от которой не смог отмахнуться. Так бывает, когда мы в чужой, совершенно отстранённой от нас истории вдруг отчётливо, как в зеркале видим себя во весь рост. И хотя имена персонажей нам не знакомы, события отнюдь не имеют никаких общих точек с нашей реальной жизнью, от ощущения своего мнимого участия в них, участия не опосредованного, а самого прямого, даже главного, отделаться нам уже никак невозможно. Слышать о себе правду всегда неприятно, часто даже обидно. Но узнать её от себя самого, порой разбивая вдребезги все прежние представления о собственной личности, однозначно сродни вдохновенному открытию. Самому яркому, самому глав-

ному в жизни. Может, поэтому Пётр Андреевич слушал теперь Аскольда, упираясь в него взглядом самых чистых, самых заинтересованных, самых пытливых голубых глаз.

А Богатов тем временем, отхлебнув из стакана остывший уже чай, продолжал.

– Несколько лет назад, ещё в прошлой жизни, когда я всерьёз занимался живописью, была у меня одна работа. Сюжет её очень старый, известный, не раз опробованный великими мастерами изобразительного искусства. Это «Тайная вечеря» – евангельский рассказ о последней трапезе Спасителя с двенадцатью своими самыми верными учениками. Каждый художник, в каждом своём творении стремится быть оригинальным, даже уникальным, не похожим ни на кого другого. Именно в этом в первую очередь смысл творчества, а иначе кому оно нужно – лишь слепое копирование, если не плагиат. Гирландайо, Тинторетто, конечно же Леонардо да Винчи, как и многие другие живописцы постарались по-своему неподражаемо передать этот сюжет. Кто религиозную сущность таинства утверждаемой в тот момент новозаветной Пасхи, кто драматический характер предательства, кто романтику Любви и служения ближнему, а кто трагизм последних часов перед арестом и муками Христа. Что же было делать мне? На что рассчитывать после таких знаменитых мэтров? Созрел у меня тогда один дерзкий замысел, весьма трудный для исполнения, но иначе и браться за такую работу не имело смысла. И я взялся.

Я не стал изображать всю фигуру Иисуса Христа. И не потому только что не считал себя готовым к столь ответственному изображению, но в не меньшей степени ещё и по той причине, что идея моя заключалась совсем в ином. Меня интересовал один момент из этого евангельского эпизода. Тот самый, о котором евангелист Матфей пишет: *«Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками; и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи? Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться. При сем и Иуда, предающий его, сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты сказал».*²² А вот Иоанн Богослов описывает те же события несколько иначе. Он утверждает, что *«Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! Кто это? Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искарйоту».*²³ Я думаю так, что оба правы, никто из евангелистов не погрешил перед истиной. Просто, что не расслышал один, то понял другой, именно потому что, «припав к груди Иисуса» имел возможность и слышать, и уразуметь большее. Вот это самое мгновение я и дерзнул остановить – всего за несколько крохотных секунд до объявления предателя.

На моей картине был изображён стол, яркий светильник на нём, чаша с вином, хлеб и десница Спасителя, подающая кусок Его преосуществленной плоти... Кому?... Пока не ясно... Ещё миг – и тайное намерение будет раскрыто, явлено тому, кто хочет его узнать, но по неведомой причине так и оставшееся без внимания апостолов. Их фигуры тут же, в окружении стола. Все одиннадцать...

– Постойте, постойте, Аскольд. Вы сказали одиннадцать? Как это одиннадцать? – вдруг прервал повествование Берзин. – Насколько я знаю, апостолов было двенадцать. Да вы и сами только что назвали это число. Вы не ошиблись?

– Нет, не ошибся, – ответил Богатов с улыбкой, весьма красноречиво говорящей о том, что он был готов и даже ждал этого вопроса. – Ваше недоумение очень верное и справедливое, Пётр Андреевич, к тому же крайне радостное для меня. Ведь оно уже наполовину говорит о том, что мой замысел удался. Сейчас вы всё поймёте.

²² Евангелие от Матфея (26: 20—25)

²³ Евангелие от Иоанна (13: 23—26)

Аскольд отпил из стакана холодный уже чай, отпил жадно, почти взахлёб, будто измученный жаждой странник. Затем откинулся на спинку дивана, словно получил столь необходимое ему сейчас подтверждение правильности его намерения и продолжил повествование.

– Первым, кому я показал эту свою работу, был мой учитель, друг и наставник в живописи. Он долго стоял, скрестив руки на груди, перед мольбертом с холстом и внимательно рассматривал картину, словно погружаясь в неё, вживаясь соучастником в развёрнутое на ней действие. Я замер, затаив дыхание, всё ждал, что он задаст этот ваш вопрос о несоответствии числа апостолов и фигур, изображенных на ней. Ведь от этого зависело всё для меня, моя победа или поражение, успех или полный провал осуществления задуманной мной идеи. Но он молчал, как бы раз и навсегда решив похоронить в недрах сознания свои впечатления. Наконец, я не выдержал и спросил сам, не смущает ли его то, что апостолов на холсте всего одиннадцать? «Нисколько не смущает, – ответил он, – напротив, я отчётливо вижу двенадцатого». На моё молчаливое недоумение он дал исчерпывающее объяснение, расставляющее все точки над «i»: «Ты написал замечательную работу. И знаешь почему? Потому что, смотря сейчас на неё, я испытываю более всего одно желание, с языка моего невольно срывается один извечный вопрос – «Не я ли, Равви?»».

Незаданный вопрос повис в воздухе, как тогда, около двадцати веков назад в маленькой комнате большого иудейского города, которому суждено было быть разрушенным и вновь восстановленным руками будущих поколений, так и не услышавших по сей день ответ: «Ты сказал». Тогда ответ этот не остановил того, кому он был предназначен. Не останавливает и сейчас всех тех, кто слышит его и не понимает обращения к себе, как спасительного предостережения. Извечный ответ на извечный вопрос, который замечателен уж тем, что хотя бы задаётся в суете дел и пустых тревог.

– А что с этой работой случилось потом? – прерывая паузу, спросил Пётр Андреевич. – Где она? Можно ли её увидеть, ... купить?

– Теоретически, наверное, можно, – немного подумав, ответил Богатов. – Но понятия не имею, как это сделать. Я давно уже потерял её след, лет около десяти тому назад, с тех пор как подарил «Тайную вечерю» одному из своих близких знакомых.

– Как это, подарил?!

– Да очень просто, ... на день рождения, ... как дарят что-либо кому-либо. Почему это вас так удивило?

– Вот это да... Вот это здорово... – Пётр Андреевич развёл руки в стороны, искренне изумляясь непосредственности своего нового знакомого. – Я копаю, терпеливо, тщательно, скрупулезно, выискиваю в российской глубинке новых авторов, подолгу обхаживаю их, торгуюсь, в конце концов, плачу деньги и, поверьте, не малые – всё только для того чтобы пополнить свою коллекцию одной единственной свежей картиной. И вот в поезде, совершенно случайно, не подозревая даже о том, что некий автор сам придёт ко мне и сядет напротив, я вдруг слышу от него, как он запросто раздаривает свои картины кому ни попадя и при этом ещё искренне заявляет, что это самое обычное, просто-таки будничное дело для него. Поразительно!

– Ну нет, Пётр Андреевич, вы меня уж чересчур упрощаете, не такой я альтруист, каким вы тут меня рисуете, – засмеялся Аскольд. – Далеко не все свои работы я раздарил. Многие продал, ведь надо же было на что-то жить. Хотя, справедливости ради придётся всё же заметить, что таких, к сожалению, меньшинство. Да и куда же мне было их девать, если я твёрдо решил покинуть Москву? Не с собой же везти. Они ведь как дети – дорогие и единственные. Бросить рука не поднимается, и с собой брать никак невозможно. Вот и пристраивал к тем, в кого верил.

Он вдруг остановился, задумался, будто припомнил нечто большое, тяжёлое.

– Впрочем, была одна работа, о судьбе которой я действительно ничего не знаю, не предполагаю даже. Она странно родилась и загадочно исчезла, будто и не было её вовсе. А ведь была же. Была.

Берзин вздохнул тяжело, отвернулся на секунду к окну, но не увидев там ничего нового, вернул взгляд внутрь купе, оглядел его рассеянно, будто ища нечто за что уцепиться, наткнулся на оставленный без внимания номер журнала «Чудеса и приключения», взял его в руки, пролистал бегло и вновь отложил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.